

цыганская сага



Анастасия  
Туманова



Развяжите  
МОИ  
крылья



Цыганская сага

Анастасия Туманова

**Развяжите мои крылья**

«Автор»

2022

**Туманова А.**

Развяжите мои крылья / А. Туманова — «Автор»,  
2022 — (Цыганская сага)

Лето 1933 года. Со всей страны в Сибирь тянутся «ссылные» эшелоны с кочевыми цыганскими таборами. В одном из вагонов – арестованные по ошибке дочери актрисы Нины Молдаванской. Одна из сестёр вырвется на свободу: её ждёт долгая и опасная дорога домой. Другая – послушается своего сердца... и останется в таборе. Удастся ли Светлане и Маше встретиться вновь? Что ждёт цыган в холодной и далёкой Сибири? И кто вызволит девушку-цыганку из ссылки, рискуя собственной жизнью?

© Туманова А., 2022

© Автор, 2022

## Содержание

Пролог	5
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Анастасия Туманова

## Развяжите мои крылья

### Пролог

– Сенька, да ты что делаешь-то? Зачем?!

– Уйди...

– Сенька! Эй, постой, да скажи хоть...

– Отвали.

– Морэ, да мне же только...

Друг вышел из шатра – и Лёшка попятился.

– Не трогай меня, – медленно, словно через силу выговорил Семён. – Заткнись. Убью.

Не смея больше сказать ни слова, Лёшка отошёл, неловко присел на примятую траву. В горле словно застрял осколок стекла. В висках безнадёжно бухало: «Доигрался. Доигрался...»

Табор стоял пустым. Под беспомощно разбросавшими полотняные крылья палатками валялись подушки, бугрились измятые после ночного сна перины, поблёскивала острыми краями расколотая посуда. На кусте калины неподалёку пестрели, не снятые после стирки, девичьи юбки и кофты. Прямо посреди табора, словно в насмешку, кто-то бросил новый, сияющий под полуденным солнцем самовар. Лёшка зачем-то поднял его, поставил, рукавом рубахи протер испачканное землёй самоварное пузо. Увидел в медном начищенном боку собственную расплывающуюся физиономию, хмыкнул было, – но осколок в горле немедленно повернулся.

«Доигрался... Из-за тебя всё! Всех цыган забрали, всех увели... А мы – тут... Одни... Аська, дочка, как она там? Что же Сенька-то делает, зачем? Бежать надо, спешить, вдруг договорим?!»

Но в глубине души Лёшка понимал: никого уже не догнать и ничего не исправить.

Всего час назад двое цыган, вернувшись из города, увидели пустой табор – и через минуту уже бежали, задыхаясь от ужаса, по примятому в траве следу – через луг, через берёзовую лесополосу, через пересохшее болотце – к железнодорожным путям. Там не было ни единой человеческой души – но на насыпи сидели, тоскливо подвывая, полтора десятка лохматых таборных псов. А на рябине висел красный платок Сенькиной жены. Он не был брошен на ветви впопыхах: было видно, что Меришка привязала его крепко и тщательно – чтобы не сдуло ветром. Это был знак.

Через полчаса друзья в четыре кулака колотили в калитки деревянных домишек близ станции. Но в домах было пусто: люди ушли на работу. В одной хате обнаружилась глухая старуха, которая явно слезала с печи в последний раз ещё при Керенском, в другой – двое ребятишек, которые, испугавшись чёрных, лохматых, взбудораженных мужиков, метнулись в дом, заперлись и упорно молчали в ответ на самые ласковые обещания. Выматерившись от отчаяния, Семён зашагал к железнодорожной будке, но там оказалось ещё хуже: тётка-стрелочница подняла такой крик и так решительно вытолкала опешивших цыган за порог («А ну пошли вон, не до вас, у меня через пять минут скорый на Ярославль, кыш, милицию позову!»), что не было никакой возможности её расспрашивать.

– Увезли их... – в который раз прошептал Лёшка. – Заарестовали и увезли. Морэ, что же нам... – он осёкся на полуслове, потому что Семён заорал:

– Через тебя всё, сукин сын! Если бы не ты! Не рожа твоя пьяная!.. Всю ночь на тебя, гада, убил, а тут в это время... моих... всех моих... Детей... Меришку... Бабку с дедом... Без меня!!!

И Лёшка ясно осознал, что сейчас получит по морде. И зажмурился. Однако Семён, не глядя больше на него, уже летел во все лопатки обратно, через рожицу и луг, к брошенному табору. Лёшке оставалось только припустить следом.

И вот сейчас он сидел на траве, боясь открыть рот, и испуганно смотрел, как Семён ходит из палатки в палатку. Чуть погода, набравшись смелости, он осторожно спросил:

– Морэ, а что ты делаешь? Зачем?

Семён поднял на него тяжёлый взгляд. Тихо, очень спокойно сказал:

– Затем, что собраться нашим разрешили. Золотишко своё бабы успели похватать, подушки вон, одежду кое-какую. Значит, всё-таки не... – и вдруг, не договорив, он неслышной тенью шагнул в густые заросли бузины.

Лёшка юркнул следом, распластался на траве, вытянул шею, тут же получил по затылку, уронил голову наземь – и через минуту томительного ожидания услышал осторожные шаги. Кто-то, то и дело останавливаясь, подбирался к цыганским палаткам.

Это был молодой ещё парень с уже испытанным, красным лицом, в потрёпанной кепке, сбитой на затылок. Из-под засаленного пиджака виднелась кое-как застёгнутая серая рубашка. Он был один и шёл, то и дело оглядываясь по сторонам, останавливаясь и приседая. Подойдя к самым палаткам, так, что окаменевшим в бузине цыганам отчётливо стали видны болтающиеся пуговицы на его пиджаке, парень ещё раз осмотрелся. Вокруг было тихо-тихо, лишь высоко над полем заливался в небе жаворонок. Нежданный гость усмехнулся – и нырнул в палатку Семёна.

Его не было довольно долго. Лёшка, уже сообразивший, что происходит, то и дело порывался вскочить, но Семён взглядом удерживал его на месте. Вскоре парень появился из шатра с огромным пухлым узлом, из которого свешивался жёлтый, в крупный синий горох рукав Меришкиной кофты.

«Ах ты, сукин сын...» – зажмурился Лёшка. Друг молча вскочил – и через мгновение вор лежал на земле, тщетно пытаясь вывернуться. Семён сидел на нём верхом.

– Да вы что? Да вы это... Цыгане... Мужики, с ума, что ль, вы... Я ж ничего! Я ж так зашёл! Поглядеть! Ничего такого вовсе даже...

– «Так зашёл», говоришь? – вежливо переспросил Семён, заламывая ему руку. Парень завыл:

– Отпусти-и-и, больно! Кто ж знал, что вы тут окажетесь-то? По другим-то таборам кругом – никого! Вы-то откель взялись?

– По каким «другим»? – опешил Семён. Воспользовавшись его растерянностью, парень юрко, как ящерица, вывернулся из-под него, вскочил, кинулся было к дороге – но на него, с треском выломившись из кустов, медведем навалился Лёшка:

– Стой! Сволочь! Убью, чтоб тебе издохнуть! Вот как сейчас...

Семён, едва успев вскочить, в последний момент перехватил Лёшкин кулак.

– Переячь! Мэк лэс, ракирава! А ты, мил человек, сядь. Не бойся, не тронем. И заберёшь потом, что сам захочешь.

– Да?... Ну... спасибо на доброты вашей, цыгане... – недоверчиво проворчал парень, усаживаясь на примятой траве и опасливо переводя взгляд с одной мрачной смуглой физиономии на другую. – Вы извиняйте, коли что. Кабы знал, что вы тут... И что добро не кинуту... В других-то местах вовсе пусто: нет никого, одни палаточки!

– В других? Где это? Да не бойся ты! Тебя как звать?

– Володькой. Мы местные, заводские, из слободы, вон трубы торчат...

– И что ты у цыган делаешь? За каким лешим по таборам ходишь? Этак ведь, знаешь, и убить могут, коли попадётся!

---

<sup>1</sup> Перестань! Пусти его, говорю!

– Да вы меня за кого держите-то, цыгане? – неожиданно оскорбился Володька, вытирая кулаком струйку крови, бегущую из ноздри. – Небось, не бандит... Просто зачем же добру пропадать, коли никому не надобно? Наши слободские уже вторы сутки по таборам-то, значит, брошенным лязят! Коли цыган угнали, а барахло побросано, так чего ж не взять?

– У... угнали?

– А вы не знали, что ль! – поразился Володька. – Во-он там, за Рогожской два табора стояли, всё мужики ихние со жбанами возились, не то паяли, не то лудили... Третьего дня всех забрали! И тоже всё, как у вас: барахло побросано, подушки, перины... Наши-то даже золото под теми перинами опосля нашли! И за Покровской большущий табор кострами всё дымил – тож в одно утро пропали! Ни единого цыганёнка не осталось!

– Постой... Как же так-то? – сморщил лоб Лёшка. – Всех-всех цыган позабирали? Не милиция за кем-то приходила, а прямо вот всех? С дитями? Со стариками?

– Как корова языком! – истово кивая головой, подтвердил Володька.

Лёшка повернулся к другу. Вполголоса, испуганно заговорил по-цыгански:

– Сенька, может, врёт он? Там же, за речкой, кастрюльки, котляры стояли! Их-то за что забирать? Они, кроме котлов, знать ничего не знают, за всю жизнь мыши хромой не спёрли! Наши тоже – ничем ничего... Там дальше, у монастыря, вроде бы кишинёвский табор торчал, но...

Но Семён, не слушая его, снова повернулся к Володьке.

– Скажи, золотой мой, а куда цыган-то дели? Куда повели? В город?

– Сдались они там кому! – фыркнул тот. – В вагоны загнали! Во-он там, на полустанке, в теплушки погрузили! Цельный эшелон набрался, вагонов сорок, поди! И отправили!

– Куда?!

– Куда... Куда сейчас всех-то отправляют? – невесело присвистнул Володька, шурясь на солнце. – Далече, должно быть... в Сибирь. Цыгане – они же цыгане и есть... Нетрудовой элемент, стало быть. Ворьё...

– Мы, стало быть, воры нетрудовые? – задумчиво, почти спокойно спросил Лёшка. – А ты-то, брильянтовый, кто?

И снова рука Семёна перехватила Лёшкин взлетевший кулак.

– Явэла, дылыно! Володька, голубь мой, постой, я ещё что хочу спросить-то...

Куда там! «Голубь», схватив под мышку запылённый пиджак, нёсся, как заяц, прочь, прыгая через поросшие мятликом и пыреем кочки. Кепка свалилась с его головы – Володька её не поднял и вскоре исчез в берёзовой рощице у заставы. Цыгане не преследовали его. Сидя в траве, они молча смотрели друг на друга. Над ними, в высоком, жарком, стеклянно-синем небе плыли сияющие горы облаков. Беззаботно заливался в вышине жаворонок. Сладко пахли луговые травы, качались под ветерком лиловые головки иван-чая, жужжали над ними пчёлы. Басовито прогудев, аэропланом пронёсся мимо майский жук. Белели под июньским солнцем крылья шатров. Тонко звенела тишина.

Семён поднялся первым. Нырнув в свою палатку, вышел оттуда со старым армейским вещмешком. Не глядя, бросил другу:

– Собери по шатрам всё, что есть. Нам теперь по чугунке идти долго.

Целый день друзья шагали по шпалам на север. Шли привычным, неустойчивым таборным шагом, не обращая внимания на заливавший глаза пот, на прилипшие к спине рубахи. Коротким жестом Семён попросил друга смотреть на левую сторону насыпи. Сам то и дело поглядывал на правую. Делалось это не зря: дважды цыгане находили на насыпи обрывки жёлтой в синий горох ткани и один раз – кусок ярко-красной платочной бахромы. Те, кого увозили в эшелоне, отмечали свой путь.

Лёшке страшно хотелось покурить – или хотя бы, остановившись у колодца, попить воды. Но друг не останавливался ни на миг, а заговорить с ним Лёшка не решался. Час шёл за часом.

Солнце зависло в выпетшем от жары небе. Неподвижно стояли вдоль насыпи берёзы с обвисшими листьями. Облака лепились друг к дружке, громоздились в башни, наливались тяжкой синевой. Ближе к вечеру в небе чуть слышно зарокотало: с юга, со стороны Москвы, шла вдогонку путникам гроза. «Да не видит он тучи, что ли» – недоумевал Лёшка, поглядывая в спину друга. Но Семён, не поднимая головы, шагал вперёд.

Порывистый ветер взъерошил берёзы, погнал между рельсами мучнистую мелкую пыль. Заросли полыни вдоль насыпи пошли широкими серебристыми волнами. Ударил гром – и дрогнули, загудев, словно в ответ, рельсы. Синяя молния прошла сверху донизу набухшую громаду туч, – и первые капли наотмашь хлестнули по шпалам. Ещё одно сверкающее лезвие полоснуло по небу, вспыхнувшему прямо над насыпью мертвенно-голубым огнём. И полило, как из ведра.

Спрятаться было негде, и дальше цыгане шли под хлещущим ливнем. Сделалось темно. В небе гремело и вспыхивало. Лёшка дрожал, уверенный, что вот-вот в них шарахнет одна из молний, без конца кромсающих тучи, но остановить друга по-прежнему не решался. Молния, в конце концов, могла и не ударить, а вот Сенька (Лёшка чувствовал это всей душой) ударит не задумываясь.

Семён в конце концов остановился сам. Застыл внезапно в шумящем, исполосованном дождём сумраке – и, перешагнув через рельс, решительно запрыгал вниз по насыпи. Лёшке оставалось только побежать следом.

Под мечущимися от ветра берёзами и иргой темнел деревянный, крытый толем навес. В глубине сараюхи виднелся штабель дров. Крыша текла, и на земляном полу чавкала вода. А снаружи загремело ещё пуще – и дождь встал вокруг навеса сплошной серой шелестящей стеной.

Семён развёл костёр, привычно выбив искру, как кресалом, двумя осколками «белой тарелки», которые забрал из разорённого шатра. Сырые дрова долго не хотели заниматься, шипели, гасли, но в конце концов загорелись, чадя сизым, едким дымом. Семён стянул облепившую плечи рубаху, отжал, встряхнул, снова надел – и сел возле огня, обхватив колени руками. Лёшка, украдкой поглядывая на друга, разложил на обломке доски безнадёжно раскисшее курево, придвинул его к огню в слабой надежде, что махорка подсохнет хотя бы к утру. От голода крутило живот. В мешке лежали несколько сморщенных клубней картошки, наспех прихваченных в лагере, – но Лёшка боялся даже заикнуться об ужине.

Снаружи зашлёпало: кто-то со всех ног, оскальзываясь, бежал по лужам. Семён поднял голову, и они с Лёшкой успели только переглянуться – а под навес уже ворвалась перепуганная стрелочница. Её сбита набок юбка была мокра до колена, босые ноги перемазаны глиной, плечи венчала железнодорожная куртка. В руке качалось ведро с водой. Увидев испуганно поднявшихся ей навстречу цыган, женщина попятилась:

– Господи... Вы кто?! Я бежу, вижу – дым, думаю – пожар, молнией запылило... Вы чего тут расселись-то, цыгане? А ну, марш! Станционные дрова-то, казённые! Спалите – кто в ответе будет?

– Успокойся, тётушка, не кричи, – перебил её Семён. – Мы знать не знали, извини нас, дорогая. Сейчас уйдём.

– Постойте... Мужики... – Тётка бухнула на землю своё ведро, неловко провела ладонью по простоволосой голове, – и сразу стало видно, что она вовсе не стара. С мокрого, круглого, веснушчатого лица смотрели ясные зелёные глаза. – Да вы – из этих, что ль? С ешалона? Убегли, да?

Одним прыжком Семён перелетел через костёр и сжал плечи женщины.

– Дорогая! Золотая! Из каких – из «этих»? Что ты видела? Брильянтовая, изумрудная моя, что ты видела?!



– Да господь с тобой! Пусти – вцепился... Ух, да не смотри ты на меня, леший, страшно же! Фу-у-у, ну и глазищи, чисто сатана... – женщина испуганно забилась в руках Семёна, и тот, опомнившись, отпустил её. Смущённо шагнул в сторону, пробормотав «Прости...»

– Ишь, что я видела, спрашивает... – Женщина неуверенно усмехнулась,правила кофту, подняла упавшую на пол куртку. – Станция ведь тут, в двух шагах, Мытищи прозывается. Везли ваших мимо-то, а я стрелочницей, значит, на разъезде... Цельный ешалон, цыганами набитый! Мало стояли, всего-то три минуты, скорый я пропускала... а ваши цыганки всю-то насыпь лоскутами усыпали! Видать, знак оставляли! Да ведь только грозой посмоет всё... Вы вдогонку, что ли, бежите-то?

– Бежим. – Семён не сводил с женщины глаз. – Семьи у нас там. Ты-то, милая, не слышала – за что так с ними? Мы же не бандиты, не кулаки, не контра какая... Просто цыгане!

– И господь с тобой... Мне-то отколь знать? – Тётка смотрела сочувственно, вытирала рукавом лицо. – И ведь, главное, сколько их там! Поди, со всей Расеи собирали: николи я столько цыганей враз не видала! Вы-то как вырвались?

Семён не ответил. Он о чём-то напряжённо, глубоко задумался и даже не заметил, как женщина, подхватив ведро, выскользнула из-под навеса. Дождь стучал по крыше, тонкая струйка, просачиваясь между досками потолка, падала прямо на плечо Семёна, и он, не глядя, словно надоедливое насекомое, смахивал воду. Лёшка, застыв у стены, смотрел на него со страхом.

Тётка-стрелочница снова вошла под навес. Под мышкой у неё был свёрток.

– Цыган, ты что – в землю врос? Так и стоял всё время? – удивилась она, с тревогой покосившись на Семёна. Тот, словно спросонья, ответил ей непонимающим взглядом. Женщина вздохнула. Подойдя, осторожно погладила цыгана по плечу.

– Эко – мокрый весь... Хоть к огню сядь, олух! Хоть ваши-то и не болеют, а ведь, если умеючи-то взяться, так и цыгана до чахотки довести можно! Ничего, ничего... Сам разумеи: коли ваших в ешалонах повезли, да со снабженьем, стало быть – до худого-то не дойдёт! Авось подальше от столицы отвезут да в чистом поле и выпустят... Потому – цыгане есть цыгане, кому они сдались? Или, может, по колхозам распахают. Глядишь, и дома дадут ещё! Не убивайся, ничего твоей цыганке с цыганами не будет! Даст бог, догоните их... Вот, поглянь, я вам поесть принесла!

– Заплатить тебе нечем, тётушка, – вполголоса отозвался Семён, глядя на хлеб, полчугунка холодной каши, лук, только что выдернутый из грядки и облепленный мокрой грязью. Тётка, раскладывая снедь на разостланной рогоже, только отмахнулась:

– Сдалась мне твоя плата... Ешьте да спите! Лучок вон под дождем сполосните... Я бы вас и на ночлег пустила, да свекруха съест. Боится она ваших-то! У неё однажды цыганка из корзинки кошелёк выхватила!

– Это не наша цыганка была, тётушка, – робко заметил Лёшка. – Наши бабы таким не промышляют, то другие цыгане были...

– Да как вас рассортируешь-то? – фыркнула стрелочница, настойчиво вкладывая в руку Семёна кусок хлеба. – Все вы, как тараканы, – одинакие да чёрные... Да ешь ты, ефиоп! Коли с голодухи ослабнешь, так и не дойдёшь к своей ворожее-то! Дружок вот твой дойдёт, а ты – нет!

Лёшка, который уже уминал за обе щеки горбушку, смущённо усмехнулся и потянулся за луковицей. Семён вздрогнул, словно разбуженный. С изумлением, словно только сейчас заметив, посмотрел на кусок хлеба в своей руке. Поднял взгляд на стрелочницу. Медленно переспросил:

– Так, говоришь, не поубивают их?

– Да сдурел ты, что ли, вовсе?! Тыфу, придёт же в башку... Ишь чего вздумал! – Тётка замахала на него руками, как на осу. – И типун тебе на язык, дурак! Когда это баб с детьми стреляли?! Вывезут, говорят тебе, вывезут их от столицы-то подале, чтоб вид не портили, – да и пустют! Верно тебе говорю! Коли бы поубивать хотели – нешто стали бы деньги на вагоны да на снабжение тратить?!

– Твоя правда, кажись, – хрипло выговорил Семён. Через силу, с натяжкой усмехнулся. – Тебе бы, тётушка, цыганкой быть. Хорошо гадаешь. Люди бы большие деньги платили.

– Не учена людей-то душить! – отмахнулась стрелочница. – Это только вашим господь дозволил... Вот под утро товарняк до Горького порожний пойдёт, так я вас разбужу, покажу, куда втыряться. Под вагонами-то хоть полпути проедете...

Семён вдруг бережно положил свой кусок хлеба на поленицу, повернулся к тётке и крепко взял её за обе руки.

– Спасибо тебе, золотая. Спасибо, дорогая! Береги тебя бог, спасибо!

– Да ну тебя, цыган... – женщина неловко высвободила руки, смущённо, по-детски спрятала их за спину. – Нешто я не понимаю? У меня самой детей-то двое, оглоедов... Кабы их от меня забрали, я бы ещё не так по шпалам-то вдогон почесала! Ешьте, ребята, да спите. Разбужу вас, когда товарняк подойдёт.

Она шагнула под дождь – и пропала в серой шумящей пелене. Семён некоторое время стоял не двигаясь. Затем отошёл к стене, сел на рассыпанные дрова, сгорбиллся, опустил голову.

Прошло несколько минут. Семён не двигался. Глядя на него, не двигался и Лёшка. Затем он всё-таки осмелился робко окликнуть:

– Морэ... Ты бы поел, а? Лук молодой, сладкий, как яблоки...

– Ты ешь, – глядя в пол, отозвался Семён. – Я не хочу. Спать лягу.

Лёшка внезапно одним прыжком взвился на ноги, опрокинув чугунок с кашей. Чугунок повалился в костёр, полетели искры. Рыжий свет сполохом упал на Лёшкино лицо, – и Семён, подняв голову, недоумённо нахмурился:

– Ты... чего?

– А ничего!!! – заорал Лёшка так, что из-под навеса с паническим чириканьем вылетела прямо под дождь чета воробьёв. – За... Замучил! Сколько можно?! Скажи давай – сколько можно?! С утра убить грозился – так давай! Убивай! Полегчает, может! И вали дальше по шпалам один! А я... А мне... А вот...

Договорить он не смог: Семён шагнул через костёр и, крепко сжав Лёшкины плечи, с силой несколько раз встряхнул друга.

– Ты сдурел? Морэ! Лёшка! Ты что?!

– Ни... чего! Ничего! Иди ты в... Пусти! Пусти, говорю! Думаешь, я не знаю, что ли? Не понимаю, о чём думаешь?! Ни слова за день мне не сказал! Можно, по-твоему, так с живыми людьми?! Трудно было сразу в морду дать?! У меня ведь там тоже... тоже Аська... дочка... Испугалась, поди, до смерти, плачет...

– Лёш, Лёш, да ты чего, Лёшка? – уже всерьёз испугался Семён. – Ты чего несёшь-то? В какую-такую морду тебе дать? За что?

– Да вот в эту! Вот в эту самую! Другой-то не держу! Думаешь, я не пойму... Кабы я вчера не запил... Да кабы ты меня искать не пошёл... Да не проспали бы мы с тобой всё на свете... Сейчас бы вместе со своими в вагоне ехали и горя не знали! Вот что ты себе думаешь! И говоришь даже со мной не хочешь! И смотреть на меня не можешь! И орёшь! И...

– Тыфу... дурак... С ума сошёл? – Семён принуждённо рассмеялся, боясь отпустить плечи Лёшки, которого колотило как в лихорадке. – Это же надо было такое удумать... Лёшка! Ну, хватит! Ну, всё! Цыган ты, иль нет? Что я тебя, как бабу, уговариваю?

– Не надо... меня... уговаривать... Ты сам... Ты сам-то что... что мне сказал... а? Там, в таборе... Что ты сказал, а?! Что это из-за меня всё! Что если бы не... не... Ты бы со своими

был! Не увезли бы от тебя Меришку, детей, бабу с дедом! Ну, морэ, скажешь, не... Не говорил, скажешь?!

– Лёшка, брат... Да от сердца чего не скажешь? Сдуру трепанул, а так и в мыслях не было! Клянусь тебе! Брось, будет, прости меня... Ну, прости... И ты не виноват, и никто не виноват... Коль уж так случилось-то... Всё, всё, я тебе говорю, уймись! – не в силах больше видеть дрожащих Лёшкиных губ, Семён неловко сгрёб друга в охапку, притиснул к себе, как ребёнка. – Уймись... Успокойся. Всё, всё... Догоним мы их! Догоним, говорю! Живы ведь они, а всё остальное – чепуха! Когда это цыган к своим не пробирался? Не завтра, так через неделю, через месяц... Осенью догоним! Вот они – шпалы-то, иди да иди, никто не прогонит... Гаджи<sup>2</sup> вон в вагон сунуть обещала... Лёшка, ну? Да перестань ты, дурак! Живы ведь они! И мы живы! Значит – сыщем их! Клянусь тебе – сыщем! Не цыган буду, если не найдём!

Лёшка молчал. Его трясло, и Семён всё крепче и крепче сжимал друга в объятиях. Снаружи шумел дождь, грохотали, проносясь мимо, поезда, лилась вода с крыши, барабаны по раскисшей земле у входа, – а Семён не разжимал рук, боясь и выпустить Лёшку – и сам, как пацан, разревётся в голос от тоски и страха.

\* \* \*

– Светка... Светка! Проснись! Да проснись же! Патринка опять плачет!

Мерно постукивали колёса. Сорок человек спали мёртвым сном. Лунный свет, просачиваясь в крохотное оконце вагона-теплушки, падал на встревоженное лицо шестнадцатилетней Машки. Всхлипывающая Патринка прижималась к ней, сбивчиво бормоча:

– Я не плачу... Мариуца, я сейчас... Я не буду... Я сейчас воды попью и не буду больше... Ложитесь спать, я уже всё, я...

Дальше Машка слушать не стала – и по-мужски, решительно сгрэбла подружку за плечи. Прижалась на миг губами к Патринкиному лбу – сухому, горячему. Тревожно взглянула на старшую сестру. Светлана встала, и, хватаясь за нары, пошла через весь вагон к баку с водой.

Попив воды, Патринка безропотно позволила Машке обтереть себе лицо мокрой тряпкой, высморкалась. Виновато прошептала:

– Вы ложитесь... Я такая дура, разбудила вас...

– Плохо тебе? – тихо спросила Светлана.

– Ничего... Я сейчас засну... а утром всё пройдёт!

Светлана, закусив губу, быстро отвернулась. Младшая сестра не сводила с неё пристального взгляда.

С верхних нар бесшумно соскользнули вниз две фигуры.

– Ну, что, девки?

– Да ничего! Вас тут не хватало! Ибриш! Мотька! Идите спите, ночь-полночь!

– Днём выпались. – Ибриш присел на пол. Лунный луч проехался по его лицу, блеснул в сощуренных глазах.

– Она опять вся горит! – сквозь зубы сказала Светлана. – А мы ведь её только-только вылечили! Целый месяц провозились! Двусторонняя пневмония была, шутка ли! Боже, что теперь с ней будет...

– Может, попросить солдат-то? – неуверенно предложил Мотька. – Скажем – больная тут у нас, пусть ссадят с вагона, в больницу отдадут...

– Не пойду-у-у! – отчаянным шёпотом завопила Патринка. – Никуда не пойду, не хочу к гадам в больницу! Я там умру! Сразу же! Не хочу-у-у...

---

<sup>2</sup> Женщина-нецыганка

– Да замолчи ты, дура, люди спят! Кто тебя отдаст? Не хочешь – не пойдёшь... Светка, ну что с ней делать-то?

Старшая сестра молчала, глядя на отпечатавшийся на стене лунный луч. Ибриш, осмелев, коснулся в темноте её холодных пальцев. Помедлив, Светлана убрала руку. Но всё же она сделала это не сразу, и Ибриш улыбнулся в темноте. Подумал, что он всё-таки сукин сын. И что толку врать самому себе: он рад сейчас до смерти тому, что Светка сидит рядом с ним в вагоне.

Вслух же Ибриш спросил:

– Вы с начальниками говорили?

– Без толку, – коротко отозвалась Светлана, и Ибришу на миг стало страшно от этого усталого безразличия в её голосе. Неделию назад, когда табор кишинёвцев загоняли в вагоны, обе сестры Бауловы вопили на конвоиров громче кочевых цыганок, доказывая, что они – не таборные, что они – московские, что они – дочери актрисы Нины Бауловой и замначальника оперативного отдела ГПУ Максима Наганова... Всё это было чистой правдой, но солдаты и слушать ничего не хотели и лишь хохотали, глядя на смуглых, черноглазых, босоногих девчонок в таборных юбках и кофтах...

Светлана Баулова окончила педагогический техникум и работала в школе. Её младшая сестра осенью должна была пойти в десятый класс. И если бы они хотя бы догадались прийти в табор в городской одежде!.. Но сёстры захотели оказать уважение таборной родне и оделись по-цыгански. С ними пришёл Матвей – приёмный сын Наганова, бывший беспризорник, который месяц назад вернулся из колонии и поступил в московскую лётную школу. Мотьке было девятнадцать лет, с его смуглой, бровастой, ехидной физиономии смотрели на мир чёрные, как горячая смола, блестящие живой и лукавой искрой глаза, – и более цыганской физиономии нельзя было и вообразить. Сам Матвей в ответ на вопросы о своём происхождении только насмешливо пожимал плечами: отца он не знал, да и мать, «весёлую даму» из города Одессы, вспоминал с трудом. На улице к Матвею то и дело обращались на своём языке самые разные цыгане – от артистов до босоногих, обвешанных детьми гадалок. И поэтому первая цыганская фраза, которой Матвея по его просьбе научили сводные сёстры, была: «Отъячь, мэ ракло<sup>3</sup>!»

В колонии Матвей познакомился с Ибришем – молодым цыганом-кишинёвцем, «сидящим» за квартирную кражу. Через полгода Ибриш из колонии сбежал – а этой весной они со старым знакомым случайно встретились в Москве и с изумлением обнаружили, что у них есть общие родственники: приёмная мать Мотьки была двоюродной сестрой мачехи Ибриша.

«Мы с тобой, выходит, по мачехам родня, во дела! – хохотал Матвей. – Чего только на свете не случается!»

Ибриш не возражал: русские цыгане, голосистые лошадики, ему нравились всегда. А когда он увидел Мотькину сестру Светлану...

Она была моложе Ибриша на два года – городская девушка в туфельках и изящном платье, со строгой причёской «валиком», в которой отливали воронёной синевой её тяжёлые, густые волосы. Ибришу хватило всего раз посмотреть в эти чёрные, чуть раскосые глаза с ярким, голубым блеском белка, увидеть ясную, открытую улыбку, услышать спокойный и мягкий голос, – и он пропал. Пропал, отчётливо и безнадежно понимая: эта девушка – не для него. Нечего было и мечтать о том, чтобы Светлана ушла из городской квартиры в табор, сменила книги на потрёпанную торбу гадалки, а строгие платья и блузки – на цветастую юбку и рваную кофту. Светлане не нужна была таборная жизнь. А сам Ибриш даже вообразить себя не мог в городе, вдали от коней, дорог, степи, шатров – и чужих подоконников. Так жили его отец, дед и прадед, братья и друзья. Так жили все цыгане-кишинёвцы. И Ибриш не мыслил для себя иной жизни. И зачем богу вздумалось так глупо и жестоко пошутить, сведя вместе

---

<sup>3</sup> Отстань, я не цыган.

городскую девушку и таборного вора, ни Ибриш, ни Светлана не знали. И их прощальный разговор ночью, в таборе, возле умирающего костра, был полон горечи.

«Нет, Светка. Не хватало тебе с вором связываться. Если бы я твоим батькой был, то на версту бы к тебе такого не подпустил.»

«Скажи, но разве ты сам... Ты никогда не думал о том, чтобы... Ты же умный, Ибриш! Тебе нравится читать, ты учился в колонии! Те книги, что я тебе дала, ты прочёл за одну неделю! Все! Будь ты другой – я бы не спорила, я знаю, какие вы – таборные... Но не ты. Нет, не ты! Как жаль, что всё – вот так... Что ты так и останешься...»

«Останусь какой есть. Каким бог сделал. Ведь и ты другой не будешь.»

Они должны были расстаться наутро – и больше никогда не встретиться. Но на рассвете цыган разбудили милиционеры, табор загнали в вагоны – и вот уже неделю эшелон стучал колёсами, уходя на север, всё дальше и дальше от Москвы. Взрослым цыганам выходить из вагонов не разрешали, но детей отпускали побегать во время остановок, и те носились вдоль состава, щебеча между собой, встречаясь, разбегаясь, разнося новости... Вскоре кишинёвцы уже знали, что забрали не только их табор, но и русских цыган, и котляров, и сэрвов, и ловарей...

«Видать, по всей Москве ловили, как тараканов... – невесело шутили цыгане. – Куда же нас теперь?»

От конвоя объяснений было не добиться: солдаты отмахивались от жалобного цыганского нытья и бурчали:

«Куда надо – туда и едете...»

Светлана сорвала голос, требуя начальника эшелона. Солдаты посматривали удивлённо, слушая правильную городскую речь таборной девчонки, – но начальство так никто и не позвал.

– Если бы хоть до телефона добраться! – сквозь зубы пробормотала Светлана. – Я бы дозвонилась отцу – и всех бы сразу выпустили!

– Как же, жди, выпустят они, – присвистнул сквозь зубы Матвей. – Это же тебе не из участка гадалок вызволять! Если такое дело началось, если всех цыган разом из Москвы увезли, – батька ваш не поможет. Это, видать, с самого верху приказ был.

– Да что же это может быть за приказ такой?! – взорвалась Светлана – и тут же умолкла, испуганно оглянувшись на спящих людей. Но никто не проснулся. И минуту спустя Светлана продолжала чуть слышно. – Что это за приказ, если ни в чём не повинных людей загоняют в вагоны и везут неизвестно куда? Как скотину! Кто мог отдать такой приказ? Я уверена, надо разобраться, найти того, кто додумался до этого, и...

– Ох, Светка, закройся, – тяжело вздохнул Матвей. – Доигрались ваши, только и всего.

– Что?.. – задохнулась Светлана, забыв даже о ладони Ибриша, снова опустившейся на её пальцы. – Что ты такое говоришь?! Мотька! Кто доигрался – малые дети? Таборные бабки?! Да ты с ума, что ли, сошёл?! Повернулся же язык сказать такое...

– Ой, ну вот да! Повернулся и не отвалился! – Мотька сел на нарах, по-турецки поджав под себя ноги, привалился спиной к стене, достал из-за уха окурок. Рыжий огонёк вспыхнувшей спички озарил сердитую физиономию парня. – Эти ваши неповинные цыгане всю Москву замучили! Все окраины – в таборах, плюнуть некуда! На Рогожской заставе – под каждым кустом по цыгану кверху пузом лежит! По улицам толпами гадалки шляются! У киосков цыганята голые скачут, пляшут, на штанах виснут – дай копеечку! Да ладно бы просили – уже из рук выдирали! И харчи, и кошельки! Ну – скажешь, не было? А были и такие, что по окнам лазили... Ибриш, а вот что ты меня тыкаешь?! Тут что – чужие есть? Вот и кончилось у начальства терпенье! Сгребли всю вашу шантрапу в вагоны – и вывезли! Слава богу, что и впрямь не постреляли...

Ибриш смотрел сквозь окно на бегущую за эшелон голубую звезду.

– Охраняют здесь плохо, – не спеша выговорил он, и четыре головы разом повернулись к нему. – Наша мелюзга вчера с болгарками говорила. Так те рассказывали, – ихних четверо убе-

жали. Молодые мужики с жёнами. По ним и не стреляли даже! Так что, Мотька, бери сестёр – да дёргайте. Сейчас ещё день-другой пройдёт, охрана после болгар успокоится, – и бегите.

– А ты? – шёпотом спросила Светлана. – Я... Я имею в виду – вы? Ты, тётя Сима?

– У Симки – дети малые, ей не добежать. – Голос Ибриша звучал ровно, словно он не понял, что означала эта короткая Светкина оговорка. – А я её как здесь кину? Нет, я со своими останусь. А вам бежать надо. Патринку нам оставьте, мы за ней, как за родной, присмотрим.

– Ай! – вдруг вскрикнула Машка. Это Патринка вцепилась в её локоть горячими, неожиданно сильными пальцами. – Ты что? Больно же!

– Машка... Не... не бросайте меня... Не хочу... Нет...

– Дура! Нет, конечно! С ума сошла? Никуда мы тебя не бросим... – Машка, вскинув голову, гневно засопела. – Светка, я Патринку тут не кину, как хочешь! Я с ней останусь, а вы с Мотькой бегите!

– Ты свихнулась, чокнутая? Я тебя оставлю здесь? Здесь?! Ну, вот что, Мотька, беги-ка ты один! Ты справишься, ты беспризорником был, ты до Москвы мигом доберёшься! Придешь к отцу! И всех цыган выпустят сразу! Дядя Максим должен понять, он пойдёт к своему начальству, к самому товарищу Калинин, и...

– Нет уж, Светка. Я без вас никуда, – угрюмо отозвался Матвей. – С какой я рожей к вашему батьке приду? Что скажу ему? Что на погибель сестёр бросил?

– На какую погибель, что ты несёшь?! – взорвалась Светлана: из темноты яростно блеснули белки глаз. – Цыган просто везут подальше от столицы, и...

– Или вы со мной – или никак! – резко перебил её Матвей.

– Мотька, твоя сестра дело говорит, – вдруг задумчиво сказал Ибриш. – Оставляй девок здесь. В таборе их никто не бросит, Симке они племянницы. А один ты живо до Москвы доберёшься.

Но Матвей лишь молча, упрямо покачал головой.

Стучали колёса. Голубой луч лезвием падал на пол.

– Ничего, Машка, Патринка, ничего, – тихо говорила Светлана, сжимая кулак. – Выберемся. Это всё ошибка, страшная ошибка... Должны же разобраться, в конце концов! Нас ведь не за границу увозят! Когда-нибудь же остановимся, выйдем, появится хоть какое-нибудь начальство... И всё устроится! Не может же быть такого, чтобы невинных людей отправляли в лагерь! Патринка, да перестань ты хлюпать! Смотри, опять жар поднялся! А что я здесь с тобой сделаю?

– Не оставляйте меня здесь... Не бросайте... – давясь слезами, умоляла Патринка.

– Послушай, но ведь в эшелоне котляры тоже едут! Может, твоя родня? Если хочешь, можно тебя к ним...

– Нет!!! – завопила вдруг Патринка так отчаянно, что Машка испуганно ахнула и оглянулась. – Я не могу! Я не хочу! Я лучше умру! Я...

– Щеляе<sup>4</sup>, сдурели вы?... – проворчал из темноты чей-то сонный голос. – Дня вам мало?

Несколько минут в вагоне царила тишина, нарушаемая лишь всхлипами Патринки и мерным перестуком колёс. У дальней стены захныкал ребёнок, слышалась возня. Поезд сбавил ход, взбираясь на холм. Луна выскользнула из окна, и стало совсем темно.

– Спать давайте, – шёпотом распорядился Ибриш. – Завтра поговорим.

Парни в самом деле скоро уснули. За ними задремала, по-детски подсунув кулак под щеку, и Машка. Светлана же, борясь с зевотой, придвинула к себе кружку с водой и, намочив в ней лоскут, пристроила его на лоб Патринки.

---

<sup>4</sup> Девчата (кишинёвский диалект)

– Смотри, кажется, жар падает! Тебе поспать надо обязательно! Подожди, ты у нас скоро на ноги встанешь, и тогда...

– Я умру, – отозвалась Патринка – с такой обречённой уверенностью, что Светлана не сразу сумела возразить. А когда мгновение спустя открыла рот для возмущённой отповеди, горячая ладошка зажала ей рот.

– Не кричи, Светуца... Я умру. Потому что... так правильно. Потому что такие жить не должны. Цыгане, такие, как я... жить... не должны... Понимаешь?

Трусихой Светлана Баулова не была никогда. Они с сестрой выросли на лихой московской улице Солянке, ещё помнившей традиции знаменитого Хитрова рынка. Дворовые драки, зачастую с поножовщиной, никогда не пугали старшую Баулову (впрочем, и младшую тоже), и в любой потасовке сёстры чувствовали себя как рыба в воде. Но сейчас, услышав спокойный, обречённый голос пятнадцатилетней девочки, Светлана испугалась до холодного пота на спине.

– Патрина, отставь пороть горячку! – сухо, скрывая панику, отозвалась она. – Совсем рехнулась, честное слово! Жить она не должна, это же надо! Ещё как поживёшь, моя милая! Ещё как замуж выйдешь и детей нарожаешь! Ещё как научишься на рояле играть! Я ведь тебе пообещала, что выучу? И в театр наш тебя отведу! Сразу же, как в Москву вернёмся, отведу! Да тебя там на руках носить будут, лучше Ляли Чёрной сделаешься! Тебе непременно учиться надо, ты талантливая, музыкальная, всё будет...

– Послушай меня, – вдруг перебила Патринка, и в её шёпоте снова прозвучало что-то, заставившее Светлану умолкнуть на полуслове. И снова холод кольнул между лопатками: так сумрачно, незнакомо блеснули из темноты глаза Патринки. Внезапно Светлана вспомнила, что ничего знать не знает об этой котлярской девчонке, появившейся в их московской квартире всего месяц назад.

– Нет, девочка, это ты меня послушай! – решительно приказала она. – Мы с Машкой тебе вопросов не задавали. Ты у нас в доме жила – и мы тебя ни о чём не спрашивали. Потому что есть такие вещи, которые... не всем рассказать можно. Но ты же не просто так тогда, на Крутицком пруду, серной кислоты хлебнуть собиралась? Не налети на тебя Машка, не выбей у тебя ту бутылку... брр-р... И ты была тогда совсем больна! Ты едва не умерла у нас на руках! Двусторонняя пневмония – шутка ли? Мы тебя, считай, с того света вытащили! А никакая твоя родня тебя даже не искала! Я первый раз в жизни вижу цыганку без родственников! Тем более – вашу, котлярку! Тем более – твоих лет! Ты же совсем ребёнок, ты...

– Я не ребёнок, – обиженно всхлипнула Патринка. – Я просватанная!

– Ты... Может быть, ты не хотела выходить замуж?

Патринка молчала. И, изо всех сил прижимаясь к тёплой руке старшей подруги так, как не прижималась никогда даже к матери, когда та была ещё жива, отчётливо понимала: всё... И жизнь, и счастье её, и мечты о музыке, о театре, о другой, чистой и ясной жизни без боли и тоски заканчиваются вот здесь, сейчас, в эту самую минуту. Как можно было всерьёз надеяться на то, что её никто ни о чём не спросит?

– Патринка, что ты? – встревоженно спросила Светлана, озадаченная этой тишиной. – Тебе плохо?

– Нет. – Патринка вдруг резко отстранилась, откинула с лица волосы. – Ничего не надо. Я... я сказать тебе должна. Вот это всё... Вагоны эти, солдаты... То, что цыган забрали и увозят... Это из-за меня всё. Только из-за меня!

С минуту Светлана молчала. Затем осторожно пощупала лоб Патринки. Та рывком отстранилась.

– Светуца, слушай, что скажу. Раньше надо было, да... Но я не могла. Понимаешь, мой отец... Мой отец – битиндо<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Предатель (кэлдэрарский диалект)

– Как? Патринка, я же плохо понимаю по-котлярски...

– Би-тин-до. По-вашему – здымари.

Тишина. Стук колёс. Чей-то короткий, приглушённый стон во сне. Луна, вновь мелькнувшая в окне. Сиплый, паровозный гудок, прорезавший ночь.

– Дорогая моя, ты в своём уме? – наконец, как можно спокойнее спросила Светлана. – У вас в роду ненормальных много?

– Были, да. И есть. – серьёзно, не почувствовав насмешки, ответила Патринка. – Моя старшая сестра, Терезка, полоумная была. Ничего не умела – ни гадать, ни просить, ни взять... Могла только музыку слушать. Обо всём забывала! Весь день могла под столбом с радио простоять! И... и я вот вся такая же. Но ты не думай, я не вру! Разве можно такое про своего кровного отца выдумать? Я бы никогда тебе не сказала... Но я умираю. А вам жить надо. Это из-за меня вас Бог наказывает. Потому что я знала, всё знала – и молчала... Я с отцом в милицию, к начальникам тогда ходила. Он мне велел – и я пошла... Но я не понимала, клянусь тебе, не знала, зачем мы идём! Не знала, что отец там скажет... А он про всех там сказал, про всех... Про Бретьяно, про Милоша, про Цыно, про других цыган наших таборных... уважаемых... богатых... Сказал и своей рукой бумагу написал, что они – бароны и людей простых мучают... Начальники всему поверили, пришли в табор, нашли золото и бумаги иностранные... и забрали, всех заб... заб... – не договорив, Патринка уткнулась лицом в колени.

Светлана потрясённо молчала. Конечно, она знала про котлярские дела. Светланина прабабка по матери родилась в таборе румынских цыган, которые пришли в Россию в конце прошлого века и сами называли себя звонким словом «кэлдэраря» – «лудильщики». Русские цыгане величали пришельцев «котлярами» и «болгарами», а то и совсем насмешливо – «кастрюльщиками». Сколько раз Светлана видела на улице котлярских женщин – загорелых дочерна, босых, одетых так, как русские цыганки никогда не одевались, – в цветные юбки с пышными оборками, в кофты с широченными рукавами. Платки замужних котлярок особым образом закручивались и завязывались на затылке, косы были унизаны золотыми монетами, тяжёлые мониста свисали до пояса. Ведь, кочуя всю жизнь из города в город, из села в село, не построишь себе богатого дома, не поставишь в нём дорогой мебели, не купишь участка земли... Веками цыгане вкладывали семейный доход в золотые монеты. Большая работающая семья могла иметь таких монет целую сотню, а то и больше! Особенно берегли золото в тех семьях, где было много сыновей. Сыновьям нужны были жёны, а красивая девушка из достойного рода могла стоять десять-двенадцать золотых монет.

– Подожди... Патринка... Постой! Но ведь в этом же нет ничего плохого! Эти ваши галби<sup>6</sup> – они же семейные! Они ещё от отцов, от дедов... Их никто не воровал! Это же объяснить можно было...

– Кому – русским начальникам? – Короткий, горький смешок из темноты. – Что им можно объяснить? Они как увидели наше золото – сразу разум потеряли! Наш баро<sup>7</sup>, Бретьяно, самым богатым, самым умным в таборе был! Его вся Румыния, вся Польша, вся Бессарабия знала! Как его все уважали! Сколько он добра цыганам сделал! И его тоже, тоже вместе с другими забрали! Сказали, что он – шпион из заграницы! Потому что мой отец так в бумаге написал!

– Не кричи... Патринка, глупая, да тише ты, проснётся кто-нибудь... – бормотала Светлана. – Разве можно кричать о таком... Что ты несёшь про своего отца, как тебе не стыдно? Ни один цыган такого не сделает! Никогда! Ни наш, ни ваш, вообще никакой! Тебе, может, сон плохой приснился?

---

<sup>6</sup> Золотые монеты

<sup>7</sup> Вожак



– Светуца! Какой сон?! – оскалилась, как зверёк, Патринка. – Я показать тебе ту милицию могу! Прямо под двери её тебя привести и показать! Это рядом с набережной, где мы гадали всегда! Ещё двери деревянные, тяжёлые, меня ими по лбу чуть не убило... Отец меня нарочно с собой взял! Велел мне там молчать, будто я по-русски не понимаю, и плакать! А сам сказал, что меня Бретьяно насильно своему сыну в жёны берёт! И что Бретьяно людей убивает и все его боятся!

– Но как же так... Патринка, я твоего отца не знаю, но он никак не мог...

– Он – мог, – свистящим шёпотом перебила Патринка. – Он ненавидел их всех! Мы самые нищие в таборе были, самые несчастные. Над нами смеялись, издевались все. Отец молчал, мучился... Много лет молчал и мучился! А когда мама умерла, то совсем... И он пошёл в милицию. И написал бумагу на наших цыган. И никто про это не знал, только я. И вот теперь... теперь... Вот это всё, эти солдаты, вагоны, цыган везут в Сибирь... Всё из-за меня! Мне нельзя было молчать, нельзя... Сказать надо было, сказать людям... Пусть бы меня убили, разорвали, прокляли... Но люди, цыгане... дети... Их бы никуда не забрали! Это Бог меня наказал... За то, что я молчала... За то, что в милиции тогда плакала... За всё, за всё...

Шёпот Патринки прервался, и она, словно обессилев, резко откинула растрёпанную голову на стену. В полосе лунного света Светлана видела влажные дорожки на ее щеках, дрожащие, намертво закушенные губы. И от острой жалости засаднило сердце.

«Она ведь верит... Это смешно, глупо, но она в это верит! В то, что тысячу цыган загнали в эшелон и везут на край света только потому, что её отец – предатель! Вот что значит – никогда ничему не учиться... Дура несчастная, дикая, маленькая дура... Что же мне с ней делать?»

– Ну, вот что я тебе скажу, дорогая моя, – намеренно сухо начала Светлана. – Не много ли ты на себя взяла? Бог её наказал, смотри ты... Если это всё правда, что ты рассказала, – при чём тут ты? Твой отец это сделал – ему перед Богом и отвечать! А ты разве могла родного отца не послушаться? Ведь не могла же, нет? Ты же цыганка, ты его дочь! Ты же пошла в милицию не потому, что сама так захотела, а потому, что отец приказал, так ведь?

– Да-а-а... – Патринка изумлённо уставилась на Светлану широко открытыми, блестящими от слёз глазами.

– Ну, и что ты мне голову морочишь? Бог её наказал, видите ли... А меня он за что наказал? Я ведь в милицию не ходила, а вот, сижу в вагоне рядом с тобой! А Машку? А Мотьку? А тётю Симу? Они ни на кого доносов не писали! Вон, детишки на нарах спят – тоже, скажешь, по заслугам получили? Наша мелюзга, которая на остановках вдоль эшелона бегают, говорит, что в каждом вагоне – по сорок человек, а вагонов – тридцать! Ты посчитать не сумеешь, так я тебе скажу: тысяча двести это будет! Тысяча двести человек! Цыган! И что – все перед Богом грешны? Подумай! И ещё вспомни, что мы-то все – здесь, а отец-то твой – нет! Нет его здесь! И где твой Бог, где справедливость?!

Патринка слабо отмахнулась – но не возразила. А Светлана заговорила дальше: горячо и решительно:

– И не вздумай мне помирать! Ещё не хватало! У тебя талант, понимаешь ты, – талант! Мы тебя приведём в театр, и в тебя там руками и ногами вцепятся! Ты – настоящая кочевая цыганка, а таких сразу принимают!

– Я же совсем некрасивая... И глупая... И ничего не знаю...

– Кто-о, ну кто, боже мой, такое ребёнку в голову вбил?! – яростно зажмурилась Светлана. – Что за народ эти таборные, поубивала бы... Ты говоришь, твоя сестра сумасшедшей была? Нет! Нет! Не была! Твою Терезку Бог в голову поцеловал, она могла бы стать артисткой! А эти ваши дикие котляры ей не дали! И тебе бы не дали! И нашей прабабке Илоне тоже бы не позволили! А прабабка на них всех наплевала, сбежала с моим прадедом, вышла за него и в московском хоре первой солисткой сделалась. Вот так-то! И бриллианты у неё были такие, что никаким вашим таборным курицам даже не снились!

– Я не хочу бриллиантов, – виновато прошептала Патринка. – Светуца, миленькая, я знаю, что дура набитая, но... я не хочу бриллиантов! Вот если бы какой-нибудь человек меня научил, как музыку из мозгов выпускать... Ты говорила, что её буквами записывают, и она тогда из головы выходит! И другие люди её тоже смогут услышать! Светуца, это нужно очень-очень умным человеком быть, чтобы такое уметь?

Светлана чуть не рассмеялась.

– Ничего в этом страшного нет. Обычная нотная запись. Я умею, и Машка умеет. Вот вернёмся в Москву – мы тебе покажем! А ещё лучше – отдадим музыке учиться. Главное – отсюда вырваться! А ты, уж пожалуйста, выкинь из головы, что умираешь! Твой отец сам за свой грех ответит, а ты... Тебе просто жить надо! Знаешь, талантливые люди – они всегда не как все. А цыгане – это цыгане: одно золото в голове... Ты от своих ушла и к нам пришла – разве плохо тебе?

– Нет...

– Ну и всё! Значит, будем жить! – Светлана крепко обняла девочку. – И вот ещё что... Не вздумай кому-нибудь сказать то, что сейчас мне говорила. Слышишь? И я тоже не скажу. Никогда и никому. Даже сестре не скажу. Даже матери. Клянусь тебе.

Через несколько минут Патринка спала, свернувшись комочком в углу нар и изредка всхлипывая сквозь сон. Светлана сидела рядом с ней. Она так глубоко задумалась, что не заметила, как с нар соскользнула тоненькая тень, и, когда младшая сестра обняла её за плечи, подскочила от неожиданности:

– Машка! Чего не спишь?

– А ты? О чём вы с Патринкой шептались?

Светлана не ответила. Некоторое время спустя, глядя в окно, вполголоса выговорила.

– Машка, я вот что думаю... Не кричи только сразу, послушай. Нас везут куда-то на Север. Наверное, в самом деле в лагеря...

– Ты с ума сошла, Светка! Какие лагеря? Детей – в лагеря?!

– Машка, ох, замолчи, пожалуйста, я сама ничего не понимаю... Но людей надо спасать. И спастись самим. И вы с Мотькой должны убежать. Ты слышала, что Ибриш говорил? Несколько молодых сбежало, и им вслед не стреляли даже! Значит, это возможно! Значит, нужно...

– Я. Никуда. Без тебя. Не. Побегу. – отчеканила Машка. Дыхание её отяжелело от гнева.

– И будешь дурой. – спокойно заметила старшая сестра. – Ты здоровая, ловкая, ты циркачка...

– Сколько раз я тебя просила так цирковых не называть?!

– Ну, прости, прости, я забыла... Ты ведь гораздо сильнее и выносливее меня, а Мотька – вообще бывший беспризорник! Он на этих дорогах и вокзалах как рыба в воде! Вы с ним в два счёта доберётесь до Москвы, найдёте отца, и он прекратит это безобразие! И я вернусь в Москву, понимаешь? И все таборные тоже!

– Вот что, ты кисельную барышню из себя не строй! – зашипела Машка. – Ты ГТО сдавала! Ты стрельбой занималась! Ты полчаса без передышку плясать можешь! Ты после распределения два года в цыганском колхозе отработала! Ты прекрасно побежишь вместе с нами и...

– И брошу тут Патринку одну? Ты в своём уме? Она же больна! Она слабенькая, она до смерти боится этих бандитов-кишинёвцев... Она просто тут пропадёт! К тому же мы остаёмся с тётей Симой...

– И с Ибришем! – ехидно напомнила Машка. Светлана только отмахнулась. Чуть погодя сердито спросила:

– Ты понимаешь, что должна, понимаешь, должна бежать! Потому что цыганам надо помочь! Потому что нельзя, чтобы невинных людей высылали в лагеря! Это... это нечестно! В Советском Союзе не должно быть таких вещей! Нужно найти того, кто отдал такое распо-

ряжение! Нужно всё исправить! И, кроме тебя, никому! Ты цыганка! Ты комсомолка! Ты моя сестра! Почему я должна тебе объяснять простые вещи?

– Да?! А с тобой что будет без меня?

– А что со мной будет? – как можно безразличнее дёрнула плечом Светлана. – То же, что и с другими. Я молодая и здоровая, ГТО сдавала – ты сама мне напомнила. Я поеду дальше с табором. И буду ждать, пока ты наведёшь порядок. В конце концов, ты представляешь, что будет с мамой, когда она в августе вернётся с гастролей – а нас нет?!

– Светка... – Машкин голос сорвался. – Побежали вместе, а?

– Я бы побежала, клянусь. Но Патринка... Как её оставить?

– Угу... Особенно если она тебе правду рассказала.

– Ты что... подслушивала?!

– Да ведь ты так вопила, что мёртвый бы поднялся! – Машка грустно улыбнулась. – Я до смерти боялась, что проснётся кто-нибудь из цыган и тоже услышит... но, кажется, нет. И, если это всё правда... Светка, неужели – правда? Ты сама-то в это веришь? Что цыган мог написать донос – на своих же?

– Я верю в то, что Патринка не врёт, – помолчав, осторожно сказала Светлана. – Она вся тряслась, когда это рассказывала. А про то, что там на самом деле случилось... Не знаю. Но помнишь, как наш прадед Илья говорил? «Если чего-то на свете нет – то для него и слова не придумают.» Есть слово «здымари» – значит, есть и те, кого так называют. А дядя Максим всегда говорит: «Смотри на факты!» А факты, Марья, – это то, что Патринка убежала из своего табора! Что она была насквозь больна! Что она чуть не отравила себя серной кислотой! Что вся её семья ушла куда-то, бросив её! Это – факт, Машка! Значит, в самом деле что-то там нечисто было, что-то произошло страшное, небывалое... И я не могу оставить Патринку одну. Так нельзя поступать, ты же сама понимаешь. А вам с Мотькой нужно бежать. И спасать людей. Шагай вперёд, комсомольское племя!

– Дура, – мрачно отозвалась Машка. – Светка, ты вот что... Ты только... Ты только смотри замуж тут не выйди!

– Вот уж чего не будет. – Светлана порывисто обняла младшую сестрёнку. – Ну, что ты дрожишь? Глупая... Ну, хочешь, ты оставайся с Патринкой, а я с Мотькой побегу?

– Ну уж нет! – вскипела Машка. – И не дождёшься даже! Побежит она... Учителка! ГТО, подумаешь! А кульбит двойной ты сделаешь? А сальто с трапеции на стойку? А апперкот справа у тебя имеется?!

– Ты поменьше там своими апперкотами размахивай! – снова встревожилась Светлана. – А то на самом деле попадёшь в милицию! Дури у тебя выше головы – и справа, и слева... Ложись спать, утро скоро. А завтра подумаем вместе с Мотькой, как нам быть.

– Машка, Мотька, может, не надо вам всё-таки, а? – бормотала Симка. Её взгляд метался по напряжённым лицам цыган, сгрудившихся вокруг, дрожащие пальцы неловко гладили племянницу по плечам, по волосам, по щекам. Машка, которая всегда испытывала к «телячьим нежностям» глубочайшее отвращение, сейчас терпела стоически и лишь едва заметно морщилась.

– А что если солдаты по вам выпалят? А что если не доберётесь? Мы ведь вон как далеко уже отъехали... уже ведь и не Россия, небось, давно... А если словят вас и в тюрьму заберут?! Дэвлалэ, дэвлалэ, что я вашей матери скажу? Какими словами оправдаюсь?

– Да ничего такого не будет, тётя Сима! – бодро ответил Матвей, поглядывая в окно теплушки на блёклое рассветное небо. Состав стоял. Двери вагонов были ещё заперты, но вот-вот должны были начать разносить кипяток: снаружи слышался топот конвоиров, раздавались металлический лязг и грохот, кто-то громко ругался.

– С чего бы мы не доберёмся? Я из Новороссийска в Ташкент и из Омска в Одессу добирался, – и, слава богу, ничего! Нырь под вагон – и покатил шикарно, как в мягком! И что нам конвой сделает, ежели поймает? Обратно в вагон запихают, только и делов! Да и не догонят ведь, тётя Сима! Мы с Марьей на ноги лёгкие! Машка, правда же? Вон туда, в лес нырнём – и ищи ветра в поле! Вы тут только подольше гарабозьте, махаловку, что ли, закатите с визгом... Ну, цыган учить хай подымать – только портить!

Машка беспшабашно кивнула – но неотрывно смотрела при этом на сестру. В её глазах билась отчаянная, сумасшедшая искра, хорошо знакомая Светлане. Именно с таким блеском в глазах младшая сестра на спор перепрыгивала с одной крыши на другую или карабкалась на высоченное дерево, чтобы снять с тонких ветвей ошалевшую от страха кошку. Густая копна стриженных Машкиных волос воинственно стояла дыбом. Пригладив их ладонью, Светлана мельком подумала, как идёт сестрёнке её дворовое прозвище «Стрижка». Лёгкий, подвижный стрижонок, раз – и в одном месте, два – и в другом, три – и уж не видать его... «Только бы им повезло! Только бы без приключений!»

Тётя Сима стянула с шеи длинную золотую цепочку.

– Бери! Не спорь! Мало ли, что случиться может? Цепка длинная, снесёте в Торгсин, вам еды дадут... Вот кольцо ещё возьми, девочка!

– Кольцо не возьму! – рявкнула Машка. – Тётя Сима, у тебя же дети! Вас невесть куда везут, побереги золото! Хватит и этого! Когда встретимся – в целости верну!

Ибриш тем временем, вертя в пальцах нож, озабоченно втолковывал своему другу: взъерошенному парню с недоверчивой физиономией.

– Рубаху разрежь, Петро! Гадже должны видеть, что мы всерьёз пишемся!

– Не дам резать! – упорствовал Петро, с сожалением глядя на свой синюю, сатиновую, лишь слегка выгоревшую на плечах рубашку. – Почти новая же! Мне в ней ещё по Сибири бегать! По холоду!

– Ладно, пропади ты, я сам. – Ибриш оттянул на себе рубаху, аккуратно примерился лезвием – и вспорол потёртую ткань от пояса до плеча, задев остриём и кожу, которая тут же набухла бисеринками крови. Морщась, Ибриш подождал, пока крови соберётся побольше, промокнул её рубашкой, удовлетворённо полюбовался на эффектное багровое пятно – и повернулся к цыганам.

– Ну – с богом! Мотька, счастья тебе! Коли повезёт, ещё свидимся! И тебе, девочка, удачи.

Машка смогла лишь кивнуть в ответ. Порывисто бросилась на шею сестре – и тут же отпрянула, по-пацански застеснявшись этой нежности.

– Господи, вся как из верёвок скручена, кто тебя только замуж возьмёт... – пробормотала Светлана, давя горький ком в горле. – Мотька, ты за неё головой отвечаешь, понял? Чтоб доставил в целости и сохранности, махновец несчастный! На, возьми тоже, – Она стянула с шеи тоненькую – в три раза тоньше Симкиной – цепочку. – Бери! Мало ли что? Вы голодать по пути не должны...

– Не беспокойся. – отрывисто, без привычной усмешки отозвался Матвей. Они с Ибришем молча, крепко обнялись. Машка, закусив губы, кинулась в объятия тёти Симы, торопливо поцеловала Патринку. А затем Ибриш и Петро одновременно кивнули друг другу – и, сцепившись, покатались по полу.

Теплушка сразу наполнилась испуганной бранью, истошными воплями и визгом. Два десятка кулаков замолотили в запертые двери:

– Откройте! Откройте! Солдатики, милые, отоприте за ради бога, убивают! Здесь убиваю-ю-ют! Режу-у-ут! Ай, да помогите же, спасите, а-а-а-а!!!

Цыганки вопили ответственно, заливаясь так, что содрогались, казалось, дощатые стены теплушки. Пронзительный детский рёв резал слух. Мотька схватил за локоть Машку, увлекая

её за собой к дверям. Он успел вовремя: снаружи послышался топот ног, лязг сброшенного засова. Дверь, скрипя, поехала в сторону.

– Эй, цыгане! Вы что – с ума посходили? Что тут у вас творится? Девоч, что ль, не поделили? Или пайку? А ну, р-разойдись!

Цыганки налетели на растерявшихся солдат со всех сторон. Перед глазами конвоиров замелькали мокрые от слёз, искажённые ужасом смуглые лица. В уши галдели, орали, визжали, цепкие руки хватались за гимнастёрки. А у «буржуйки», зверски ощерившись, насакивали друг на друга два молодых цыгана – в разодранных рубахах (Ибриш всё-таки умудрился оторвать Петро рукав) и с ножами на замахе.

Конвоиры, растолкав женщин, кинулись разнимать драку. Загремели приклады, нож Ибриша, крутясь по деревянному полу, полетел к дверям. Матвей подхватил «финку». Мягким движением сунул лезвие в сапог – и змейкой вытек из вагона. Машка скользнула следом. И прошло ещё несколько долгих минут, прежде чем снаружи послышалась отчаянная брань:

– Эй, цыгане, стой! Стоять, говорят тебе, сто-о-о-ой! Стрелять буду! Эй! Парфёнов, пали!

– Чего «пали», чего, мать твою, «пали»? Их уж и не видно! И как выскочить умудрились? Парни это были?

– Не, кажись, цыган с цыганкой... И ведь исхитрились же! Что за нация такая улетающая! Вон, через насыпь в лесок брызнули – только пятки сверкнули!

У Симки задрожали губы. Она выпустила из рук гимнастёрку солдата, перестав яростно оттирать того от Ибриша, всплеснула ладонями – и осела на пол: Светлана едва успела подхватить тётку. Конвоиры, разом потеряв интерес к драке, гремя сапогами, выбежали из вагона. С визгом задвинулась дверь, лязгнул засов. Цыгане кинулись к окнам. Снаружи слышалась ругань, сердитые окрики: по вагонам загоняли детей.

– Стрелять будут? Нет? – срывающимся голосом спрашивала Светлана, повиснув на занозистой раме крошечного окна. – Ничего не видно!

– Конечно, тебе не видно, – поднимаясь с пола, отозвался Ибриш. – Они же в другую сторону понеслись! Слышишь, что солдаты кричат? Они в лес нырнули! – Слава богу... Патринка, ты слышишь? Они убежали! Убежали!

Симка, Патринка и Светлана молча обнялись. Ибриш видел лицо Светланы – бледное, с закушенной губой – и ему мучительно захотелось выхватить её из рук тётки, прижать к себе до хруста, до боли, пообещать всё на свете – и что они тоже убегут вдвоём, и что он доставит её в Москву к родителям, прямо на порог квартиры, и что всех цыган скоро, разобравшись, отпустят, а если не отпустят, то они сами понемногу сбегут, это же цыгане, кто их удержит... Но ничего этого нельзя было ни сказать, ни сделать. И Ибриш просто смотрел, не отрываясь смотрел на Светкино лицо с огромными, чёрными, как ночная вода, глазами, на дорожки слёз, на растрёпанные, выбившиеся из кос выющиеся пряди... И она тоже неотрывно смотрела на него через плечо плачущей Симки, а слёзы всё бежали и бежали по её бледным щекам.

– Стрижка, всё... Стой! Стой, дура! Оторвались! Не гонятся! Не бежи, передохни!

Упругая еловая ветка хлестнула по лицу наотмашь. Градом посыпались холодные капли. Машка, дрожа и задыхаясь, остановилась. Босые ноги горели от ледяной росы, ополоумевшее сердце скакало прямо в горле. Вокруг было тихо, пусто. Колоннадой поднимались толстые ели. Звенели на разные голоса птицы. Прямо над головой Машки вкрадчиво постукивал по морщинистой коре толстой сосны красноголовый дятел. Сетчатый круг паутины, весь унизанный, словно бисеринками, бриллиантовой росой, повис между двумя стволами, а в середине его замер большой мохнатый паук. Пахло смолой, влажным листом. Внизу, под соснами, мелькали листья земляники, из-под них зазывно краснели ягоды. Наклонившись, Машка сорвала одну, другую, третью.

– Вот правильно, лопай пока, – одобрил Матвей. С минуту он напряжённо вслушивался в тишину. Затем отрывисто бросил:

– Сейчас вернусь, – и исчез в кустах.

Время шло – а вокруг по-прежнему было тихо, лишь заливались птицы в ветвях и, шурша, сыпалась древесная труха из-под клюва дятла. Солнце неторопливо пробиралось по лесным макушкам вверх, в наливающееся умытой синевой небо. Золотистые блики, сеясь сквозь густую, холодновато-сизую хвою, ложились на красные потрескавшиеся стволы, пятнали примятую траву, вспыхивали в росе. Машка ползала под соснами, собирая в ладонь землянику, и вяло удивлялась своему странному, сонному спокойствию. Словно она только что вышла из кинотеатра «Ударник» на Всехсвятской... Драка, солдаты с винтовками, прыжок из вагона... Кубарем – вниз по насыпи, окрики вслед... Колкий гравий, мокрые заросли жёсткой травы, сильная рука Мотьки, до ломоты стиснувшая запястье... Сухостой, ломающийся под босыми ногами, ветви, бьющие в лицо... С кем это было? С ней? С Машкой Бауловой?..

Вернулся Матвей. Его чумазая физиономия с прилипшими ко лбу хвоинками сияла.

– Всё, Марья! Эшелон тронулся! За нами даже гнаться не стали! Походили, поругались, мелюзгу по вагонам разогнали – и тронулись!

– А что ты так светишься-то? – осторожно спросила Машка.

– Да то, что, значит, точно не в лагеря ваших везут! Кабы по этапу, как арестантов, так мы бы с тобой так просто не отделались! Зек – он учёта требует! И поимки непременно, потому конвой за его сохранность головой отвечает! И в документах это всё пишется: сколько з/к, почему выбыли, по какому поводу... А на ваш шалман, видать, бумаг-то вовсе никаких нет! Просто так вывозят: на вес, как антрацит! И скоро вытрусят весь ваш табор посреди тайги... А где это мы, интересно, сейчас сидим? Стрижка, а?

– Мы семь суток ехали, остановки короткие, – задумалась Машка. – Товарняк идёт со скоростью... со скоростью... Паровоз СУ вроде бы сто двадцать пять в час даёт, значит... Умножить на семь... А остановки? А ночью мы подолгу стояли, или нет?

С устным счётом у Машки всегда было худо, и Матвей поспешил прекратить её мучения:

– Не дербань себе мозги! Ежели мы семь дней на Север ехали, так мы сейчас где-то возле... Челябинска, что ли. Эх, раньше сигать надо было! Этак мы с тобой, дай бог, только к осени доберёмся!

– Мы продадим цепочку! – быстро сказала Машка. – На первой же станции продадим, купим билет до Москвы и...

– Продадим? Купим? – невесело усмехнулся Мотья. – В цыганском-то виде? Посмотри, на кого ты похожа! Задрипанка, и всё... Нет, Марья, нам теперь и станции, и вокзалы за три версты обходить надо! Коль уж так вышло, что ваших вылавливают да в Сибирь везут...

– Но как же так? – с запинкой спросила Машка, от волнения не попав ягодой в рот и размазав багровую земляничину по щеке. Почему-то ей казалось, что стоит лишь вырваться из осточертевшего вагона, – и всё уже будет решено: они мигом доберутся до Москвы, примчатся на Солянку, домой, а лучше прямо на Лубянку к отчиму, расскажут правду, дядя Максим немедленно всё устроит, вслед за эшелоном полетят телеграммы, разберутся, цыган отпустят... А теперь что?!

Мотья посмотрел на растерянное, как у ребёнка, Стрижино лицо со свежей царапиной на щеке, на её испуганно приоткрывшиеся губы, – и, страшно выругавшись про себя («Напугал дитятю до смерти, скотина...»), широко ухмыльнулся:

– Не дрейфь, Стрижка! Доберёмся! Надо будет – в вагон вскочим, надо будет – под вагон прилипнем... Со мной не пропадёшь! Давай лопай землянику, больше всё равно покуда шамать нечего. И пойдём. Худо-бедно полторы тыщи километров отмахать придётся! Для вольного человека – пустяк! У нас с тобой ни мелюзги, ни стариков на горбу нет, руки-ноги целы, жара стоит, спички есть, золотишко есть, – доберёмся!

Машка кивнула, улыбнулась, – и Матвей с облегчением понял, что она успокоилась. И, присев на мшистый поваленный ствол, вытащил из кармана одну из трёх уцелевших папиросин. Тут же подумал: «Придержать бы курево, невесть когда достать сможем...» и спрятал папиросы обратно. Машка этого не заметила: она, ползая на коленях, ловко собирала землянику: одну – в рот, одну – в ладонь. Наконец, вся перемазанная розовым соком, она лёгким прыжком вскочила на ноги, подошла к Матвею, протягивая пригоршню ягод:

– Ешь! Давай-давай! Сам говорил: нескоро кусок будет...

– Да ладно, сама трескай... – воспротивился было он, но Машка решительно ткнула пригоршню ягод «брату» под самый нос, – и пришлось есть землянику прямо у неё с руки, касаясь губами то жёстких мозолей на ладошке, то нежной, тёплой кожи на запястье. Кругом шла голова, отчаянно колотилось сердце, проклятая земляника вставала поперёк горла – и прекратить это мучение Матвей не мог. И половину жизни отдал бы за то, чтобы оно не кончалось. А вторую половину – за то, чтобы Машка, эта дурында, не поняла, не почувала ничего...

\* \* \*

В одиннадцать часов вечера актриса Нина Молдаванская навзничь рухнула на кровать в своём гостиничном номере. Спектакль театра «Ромэн» закончился час назад. В ушах Нины до сих пор гремели аплодисменты, звон гитар, перестук каблучков, восторженные крики. Зал самарского театра был переполнен. Зрители гроздьями свисали с галерки, хлопали так, что, казалось, огромная хрустальная люстра, того и гляди, рухнет в партер. После спектакля артистов не отпускали ещё добрых четверть часа, без конца вызывая их на поклоны, выкрикивая имена певиц, танцоров, и над рядами неслось: «Ляля!.. Ляля!.. Ляля Чёрная, бра-а-а-аво! Би-и-ис!» И Ляля снова и снова вылетала на авансцену как бабочка – тоненькая, лёгкая, с раскинутыми в стороны ладонями, словно собираясь обнять и прижать к груди весь партер, весь бель-этаж, всю галёрку с ложами... Её волосы, выбившиеся из-под повязанной на таборный манер косынки, буйными чёрными волнами рассыпались по плечам, босые ноги пружинили на полу-пальцах из-под оборки цветной юбки, словно артистка собиралась вот-вот взлететь. Нина, которую тоже вызывали несколько раз, стояла рядом с кулисой, хлопала, кланялась и улыбалась вместе со всеми, смотрела на тоненькую фигурку Ляли и привычно восхищалась подругой.

Замечательно выступила и Калинка – новая актриса, лишь месяц назад пришедшая в театр «прямо с улицы». Ролей ей пока не давали, но в хоре Калинкин звонкий, чистый голос звенел так, что легко перекрывал и могучие басы, и бархатные контральто. А когда молодая артистка вышла со своим «кусочком» пляски, её ловким таборным «примерчикам» аплодировал весь зал. Ах, как Калинка была хороша в таборной широкой юбке и красной кофте с широкими, как у котлярок, рукавами, которую она сама наспех перешила себе из старого Нининого костюма! И сейчас Нина никак не могла взять в толк: почему ей кажется, что подруга чем-то встревожена?

Сейчас Калинка сидела напротив Нины на своей кровати, терпеливо выпутывая из распустившихся волос подвеску большой серьги. Грим она уже сняла, и лицо двадцатисемилетней артистки казалось совсем юным, усталым и глубоко задумчивым. Поймав взгляд Нины, она слабо улыбнулась:

– Как ты хорошо сегодня спела... Ты ведь поёшь лучше Ляли, Ниночка! Гораздо лучше! Она не обижается?

– Ляля-то? – усмехнувшись, Нина закинула на спинку кровати гудящие ноги. – Ляля ведь вообще не певица, она – плясунья! И драматическая актриса, конечно... И обижаться ей незачем: она же лучше нас всех, вместе взятых! Если я завтра из театра уйду, никто и не заметит. А если Лялька уйдёт – всё, шабаш, театр закрывать можно! Весь зритель на неё идёт!

– Нет, это неправда, – серьёзно возразила Калинка. – Ты очень хороша в этой роли ресторанной певицы! Это ведь специально для тебя весь эпизод написали, да? Мне так Миша Скворечико сказал...

Нина лишь устало улыбнулась, понимая, что бессовестный Мишка Калинку разыграл.

Эпизод «Цыганский хор в ресторане» был написан для разоблачения «цыганщины» на эстраде. Для роли выбрали сложный, изысканный романс «Осколки», с которым молодая Нина когда-то блистала в петербургской «Вилле Родэ». И на первой же репетиции, прервав исполнение романса на середине, режиссёр огорчённо сказал:

– Нина, это ужасно. Просто катастрофа! Ничего не поделаешь, эпизод придётся снимать. Вы блистательны!

– Моисей Исаакович! – испугалась Нина. – Я не понимаю...

– Не понимаете? А вот я прекрасно понимаю! И любой разумный человек тоже поймёт, что после премьеры спектакль сразу же снимут с репертуара! Вы же неподражаемы, Нина Яковлевна! Я никогда такого чудесного исполнения этого романса не слышал! Вы понимаете, что зал будет стоя аплодировать полчаса – и кому? Вульгарной ресторанной певичке! И на другой же день в газетах напишут, что цыганский театр пропагандирует кабинетную цыганщину!

– Но... Я же...

– Нина! Мне можете не объяснять! Но Наркомпрос нас зарежет на корню! Придётся вам... снизить уровень исполнения, что ли. Вы же артистка, Нина! Ну, поднатужьтесь же и изобразите пошлое кабацкое исполнение! Со всеми ужимками и выкрутасами! В жизни не поверю, что вы его никогда не видели!

– А вот и не видела! – вышла из себя Нина. – У нас так петь было не принято! Моя мама выходила к залу – и ни одного лишнего жеста не делала! Пела – и всё! А все вот эти рожи роковые и страстные...

– ...придётся корчить, Нина! – железным голосом перебил режиссёр. – У вас роль, которую нужно играть, и...

– ...и петь, Моисей Исаакович! Петь! Сложный романс! Вы понимаете, что если я буду думать не об исполнении, а о том, как скроить на публику уличную морду, я не возьму ни одной своей ноты?!

– И не надо, Ниночка! Поймите же, вы играете роль, роль! – а не участвуете в концерте! Концерт у нас непременно будет, я уломаю наших красноармейцев пролетарских в худсовете, а пока... Пока вы играете ресторанную певицу, почти проститутку и...

– Кого-кого?!.

– Ниночка, но ведь искусство требует... – Гольдблат осёкся, вовремя заметив выражение лица актрисы. Покряхтел и расстроено распорядился, – Оставим пока что этот эпизод. Займёмся таборными сценами. Подумайте над рисунком роли, вы – талантливый человек и, я уверен, сумеете...

«Талантливый человек» молчал, раздувая ноздри и яростно дёргая кисти шали. Режиссёр счёл нужным не трогать больше разнервничавшуюся артистку, и до конца репетиции гоняли «таборные сцены», в которых блистала Ляля Чёрная.

А вечером, когда Нина грустно ходила по пустой квартире (муж был на службе, дочери – в школьном клубе) и размышляла, куда податься, если её выгонят из театра за отказ от роли, раздался звонок в дверь.

На пороге стояла Ляля с огромной коробкой шоколадных конфет в руках. Под мышкой у неё была зажата бутылка вина.

– С чего гуляем? – мрачно спросила Нина, пропуская подругу в прихожую.

– Да ни с чего! Просто так! – радостно возвестила Ляля. – Видишь, какие мне конфеты подарили? А вино Мишенька Михайлович принёс! Сейчас мы с тобой как сядем, как выпьем по маленькой, как конфетами объедемся! Да и сделаем эту проклятую роль!



– Лялька, не валяй дурака, – хмуро перебила Нина. – Мне никогда этого не сыграть. Я представить себе не могу, что выйду на сцену – и буду кривляться и вертеться, как потаскуха вокзальная! Никогда же не было такого! Даже при НЭПе! Церетели разве так поёт? Наровская? Изабелла Юрьева эта, которая все мои романы себе забрала? Интонационная проработка – и всё! Какие кривлянья, какие там страстные жесты? Жесты в дело идут, когда петь не умеешь, но ужасно хочется!

– Ну, мне-то хоть не растолковывай! – рассмеялась Ляля, и Нина невольно улыбнулась тоже. – Вот что, давай мы с тобой немного посидим... Я чайник поставлю, а ты вино открой! Я тебе вот что скажу, Нина: ты не о том думаешь! То есть, не о тех! Ты на наших смотришь певиц, на Юрьеву, на Церетели, которые ещё лучше наших... А ты вспомни, как русские поют, когда цыганок изображают, – и всё враз у тебя получится! Ну-ну, вспоминай давай, как эти барыни тебе из-за своих столиков подпевали! Да ещё «по-цыгански»! «Каша-мышья-болша, ай да жаровар!» Знаешь, я осенью была у Мейерхольда на закрытом просмотре, Мишенька Михайлович меня водил... Бог знает какая глупая пьеса, кажется, «Самоубийца» называется... правильно, что её запретили... Но вот одно там хорошо было: нэпманша Клеопатра Максимовна! Она там во втором действии напивается, пристаёт к премьеру и говорит: «Признаюсь, моя мама была цыганкой... Её тело лишало ума, как гром... С пятнадцати лет я стала вылитой матерью... Я росла и цвела без обмана, как дерево... Увезите меня к себе!» О-о, как жаль, что ты этого не видела! Вот так надо играть! А ну давай, Нинка, цвети без обмана! Как дерево! Лишай ума, как гром! Сейчас мы из тебя такую шалаву сделаем, что наш Гольдблат без чувств рухнет!

Светлана и Машка вернулись из клуба в девятом часу вечера – и ещё с лестничной площадки услышали залиvistый хохот и пение. Наспех сбросив туфли, удивлённые сёстры Бауловы вошли в гостиную.

На столе со сползшей скатертью красовалась наполовину пустая бутылка вина, валялись конфетные фантики, несколько шкурок лимона, смятые машинописные листки. На подоконнике, хохоча во всё горло, сидела растрёпанная, покрасневшая Ляля с мокрыми от слёз глазами. А посреди комнаты, задрапировавшись в вишнёвую занавеску (которую Светлана своими руками убрала в кладовку, чтобы отнести в школьный драмкружок) оставив обнажёнными руки и плечи, стояла актриса Нина Молдаванская с папиросой на отлёте – и хриплым, прокурренным, распутным голосом пела танго:

Но вот однажды с крошечной эстрады  
Её в Париж увёз английский сэр,  
И вскоре Кло в пакэновском наряде  
Была царицей на Bataille de Fleurs.  
Её лицо классической камеи,  
Её фигурка в стиле Tanagra...

Светлана и Маша окаменели.

– Нет-нет-нет, Нинка, язык обратно засунь, это уж слишком! – командовала, умирая от смеха, Ляля. – А плечом поводи, подвигай, они все так делают! Изогнись, заморгай и вот этак подбородочком сделай слева направо... Фу, какая гадость, превосходно!

– Мама! Ляля! – ошеломлённо воззвала Светлана. – Что это такое?

Ляля, не вставая с подоконника, помахала ей рукой.

– Как «что», Светочка, милая? Репетируем! Роль готовим! Правда же, достоверно получается? Нина, я уверена, сам Константин Георгиевич поверил бы! Вот так завтра и сыграешь!

Вспомнив тот вечер, Нина невольно улыбнулась. Конечно, не всё сразу сложилось с этой ролью. Но всякий раз во время спектакля, когда Ляля из кулисы, вытаращив глаза и сложив губы бантиком, страстно шептала: «Моя мама была цыга-а-анкой...», – Нина входила в образ

и отыгрывала ресторанный певицу «на отлично». Однако, к возмущению режиссёра, зритель упорно отказывался понимать упадничество и пошлость «цыганщины» – и аплодировал певице искренне, громко и долго, то и дело требуя «повторить». От отчаяния заменили было изысканные «Осколки» «Кирпичиками» – но вышло лишь хуже. После Нининого исполнения незамысловатой фабричной песенки весь зал областной филармонии в Смоленске дружно встал – и от аплодисментов чуть не рухнула крыша! Гольдблат махнул рукой, вернул в эпизод «Осколки» – и в дальнейшем «сцена в ресторане» неизменно имела успех.

– Кто там опять вопит? – Нина обеспокоенно прислушалась. – Это же за стеной? У Ляли в номере? А орёт Мишка Скворечико! И... и Гольдблат, кажется! Господи... Даже после спектакля им покоя нет!

Калинка рассеянно улыбнулась, глядя в тёмное окно. Казалось, она даже не услышала слов подруги. Нина встревоженно посмотрела на неё, пожала плечами. Встала, стянула со спинки кровати шаль и вышла. Калинка даже не обернулась ей вслед.

Номер Ляли Чёрной был громадным: когда-то это были, вероятно, самые дорогие апартаменты гостиницы «Европейская». Ещё совсем недавно гостиница была приютом для бездомных детей: на стенах номеров сохранились тщательно покрашенные похабные надписи и рисунки. Но рояль, великолепный беккеровский рояль с витыми ножками и резной подставкой для нот каким-то чудом уцелел и украшал теперь огромную комнату, в которую набилось два десятка человек. На тихо вошедшую Нину никто не обратил внимания. Папиросный дым облаками уплывал в открытые окна. В кресле у стены, привычно забравшись в него с ногами, сидела взволнованная Ляля. Рядом с ней, спокойно посмеиваясь, восседала Марья Васильевна Скворцова. Встретившись глазами с Ниной, она подмигнула и показала на Мишку Скворечико, который, нервно ероша ладонью волосы и размахивая, как пистолетом, нераскуренной папиросой, ходил от стены к стене.

– Да ведь опять не туда вас несёт, Моисей Исаакович! – кипятился он. – Ну о чём вы говорите, какой дивертиссмент? Кто нам его позволит делать? Вы ещё скажите – романсы в программу поставить! Чтобы уж наверняка театр закрыли за профнепригодность!

– Миша, нас и так скоро закроют. Именно за профнепригодность. – Гольдблат, сидящий за столом, был сух, спокоен и деловит. – Потому что, при всём моём уважении к нашим прекрасным артистам и особенно артисткам, – он не глядя поклонился в сторону Лялиного кресла, – драматический театр из цыган – как из козы барабанщик! Драма, мой дорогой, – это драма! Это высокое искусство и сценическое мастерство! На одних подругах семиструнных и страстных прыжках по авансцене далеко не уедешь! На сцене играть надо, а не голосить, как на митинге! Уберите из спектакля нашу несравненную Лялю – и что останется? Вожак табора, из деревяшки вырубленный, и сам табор – из папье-маше! И не надо на меня орать! Рецензии читайте! Только наши блистательные артистки театр пока и спасают, а всё остальное...

– Рецензии?! – взвился Мишка, отшвырнув папиросу. – Ну-ну, рецензии! Давайте, вспоминайте, что ваш Клейнер два года назад про нас писал!

– Что значит «мой»?..

– Ваш, ваш! Из «Вечерней Москвы»! Которого просили по-человечески написать, а он... Танцев ему, видите ли, в спектакле слишком много! Песен ему, видите ли, через край! В студии «Ромэн» неоправданно много поют и пляшут! Это вам как?!

– Ну и дурак Изька Клейнер, я это всегда говорил! – с великолепной непоследовательностью заявил Гольдблат. – Чего он, хотелось бы мне знать, рассчитывал увидеть в цыганской студии? Книппер-Чехову и Таирова? Мамонта Дальского? Эдмунда Кина, может быть? Надо же как-то увязывать желаемое с действительным! Цыгане – это эстрада и только эстрада! И за год из эстрадников не сделаешь ни трагиков, ни комиков! Даже из русских эстрадников не сделаешь! А уж из нашего с вами табора...

– Ну вот, вы же сами говорите...

– Я – говорю? Да я уже рыдаю и катаюсь по полу в истерике, Миша! – мрачно отозвался Гольдблат. – Театр – это талант плюс мастерство плюс работа плюс дисциплина! Да-да, дисциплина, – а не появление на репетиции за десять минут до её конца! И не пропуск спектакля по уважительнейшей причине: явление в гости дивизии родственников из-под Нижнего Волочка! А когда артист отпрашивается на свадьбу племянницы на один вечер, а является с невиннейшим видом через полторы недели – это как называется?! Далеко нам пока до настоящей драмы и до настоящих спектаклей, очень далеко! И надобно это признать! На одном сверкании глаз и в дешёвой оперетке не выведешь, даже там голос нужен!

– Так ведь голосов-то хоть отбавляй, Моисей Исаакович! – тихонечко вставила Ляля. – Сами же знаете, уж чего-чего, а голосо-ов...

– Ну так и надо делать ставку на эти голоса, Лялечка! И на эту пляску! И на очи чёрные! Только не так, как в кабаках, а так, как в таборах! Не в драму надо ударяться на сцене театра «Ромэн», а в песню и пляску! И плевать на Изьку Клейнера с его рецензиями: он сроду ничего не смыслил ни в искусстве, ни в театре, ни в цыганах! Я его всю жизнь знаю, его папа до событий сапоги в Харькове тачал, а Изька туда же – «революционный драматург», и рецензии писать берётся! Посмотрел бы я на этого революционного драматурга, когда ему велят из табора с шатрами, конями и курями сделать цыганское отделение МХАТа! Да ещё перевести всё это бесподобное хозяйство на самоокупаемость! Самоокупаемость бывает при полных сборах! А полные сборы бывают тогда, когда артисты делают то, что умеют делать! И нужно запускать концерты и дивертисменты обоймой – вот тогда кассы будут брать приступами и в Оренбурге, и в Саранске, и в Баку! Нет уж, Миша, нет уж, Ляля, никакого Изьку из Харькова мы слушать не будем! Цыгане – это музыка, от них всю жизнь ждали музыки и будут ждать музыки! А мы, делая из цыган драму и трагедию, пытаемся смастачить из хорошего валенка плохой лаковый штиблет! И если вам кажется...

Но тут уж заорали все разом. Задрожали стены, задребезжали подвески в люстре, веером взметнулись листки бумаги со стола, на который с грохотом опустился кулак Мишки Скворечико, закричали хором братья Лебедевы, и даже Ляля, всплеснув руками, прыгнула со своего кресла. Нина покачала головой. Неслышно прошла вдоль стены к роялю, за которым, никем не замечаемый, склонив длинный грустный нос к клавиатуре, тихонько сидел Семён Бугачевский – музыкальный руководитель театра. Его, казалось, ничуть не трогал поднявшийся гвалт. Он осторожно прикоснулся к клавишам, извлекая из них тихую, грустную мелодию. Заметив подошедшую Нину, он улыбнулся, привстал.

– Сидите, пожалуйста, Семён Михайлович. – Нина придвинула себе стул. – Наши вас с ума ещё не свели? Такие уж люди: не умеют говорить спокойно...

– Ничего, я привык, Антонина Яковлевна, – вежливо отозвался Бугачевский. – Вы сегодня превосходно играли, я был просто восхищён – впрочем, как и всегда. Наркомпрос не ведает что творит, лишая публику цыганского романса... Так печально, что приходится упаковывать ваше несравненное исполнение в сатирический скетч...

Нина молча улыбнулась. Ей нравился этот воспитанный, нестерпимо интеллигентный человек с мягким, внимательным взглядом и тонкими, нервными, как у женщины, пальцами, которые, казалось, не существуют отдельно от клавиш рояля.

– Семён Михайлович, хоть убейте, понять не могу: ну что вы тут, у нас, делаете? Вы же музыкант от бога! У вас консерватория за плечами, вы в Большом театре концертмейстером были! И с деньгами тут у нас, против Большого-то...

– Ну, а вы-то здесь разве из-за денег, Антонина Яковлевна? – улыбнулся Бугачевский. – Или, может быть, Ляля?

– Семён Михайлович, да ведь мы же – совсем другое дело! Мы ведь цыгане... Нам-то попросту деваться было некуда! Мы так измучились по пивным выступать да статьи разгром-

ные о цыганщине в газетах читать, что уже на всё согласны были! Помните статью эту, года три назад вышла? В которой цыганок проститутками называли? Я после неё света не увидела!

– Нина, хоть мне-то можете не объяснять...

– Не могу! До сих пор сердце горит! Помню, читаю этот ужас – и реву, успокоиться не могу! Дочерей напугала, они чуть мужу на службу не позвонили со страху! «Он обнял Мери и в упор, ловя любящий взор, понёсся влюблённую пылью...» Да-да, и такое петь приходилось! На мотив «Авиа-песенки»! Потому-то и студия, потому-то и театр... Вспомните, почти все артистки из артелей пришли, из трестов, из контор... Я сама в Заготтресте стенографировала! Не кормила нас наша цыганщина, только и всего! А уж вы-то...

– А я, Нина, человек вообще ужасно непрактичный. – Бугачевский, улыбаясь, пустил по клавишам лёгкое арпеджио. – Конечно, Большой театр, вторые скрипки, концертмейстерство... Но, когда Ваня Лебедев пришёл ко мне и сказал, что нужен музыкальный руководитель в цыганскую студию... Я, признаться, уже просто не мог ни о чём другом думать! Я без этих песен ни жить, ни дышать не могу. От цыганской песни умирает каждый русский... даже русский еврейской национальности!

Нина тихо рассмеялась. Морщась от шума за спиной, прислушалась к мелодии, которую Бугачевский, говоря, продолжал извлекать из клавиш.

– Что вы играете, Семён Михайлович? Знакомое такое...

– Не помните? А ведь это наша пленительная Калинка пела на прослушивании! «Сыр-яда форо Москва». Народная песня о тяжёлой цыганской доле! – В глазах музыканта играла добродушная усмешка. – Вот ведь положение, Антонина Яковлевна, – никогда в цыганских песнях не найти хороших стихов!

– Конечно, не найти! – смеясь, подтвердила Нина. – Музыка у нас – есть, талант исполнительский – есть, стихов хороших – нет и не будет! В ближайших трёх пятилетках, по крайней мере! Потому что, прежде чем стихи писать, надобно научиться их читать! И понимать! А наши – сами знаете... Потому и тексты для цыганских романсов всегда русские писали. Ну... или ваши. Семён Михайлович, вы сами-то никогда стихами не баловались?

– Нет, Антонина Яковлевна, я – как цыган: больше по музыке... – отшутился Бугачевский. – Я ведь и эту Калинкину песню кое-как перевёл, ничего поэтического в ней не нашёл... Она ведь о проверке документов на улицах Москвы? «Лыла» – это ведь означает «письма, бумаги», не так ли?

– Совершенно верно, Семён Михайлович. Ничего нового. Цыгане ведь песни поют о том, что видят...

– Да ведь не они одни, Антонина Яковлевна! Любое народное творчество – всегда о том, что народ видит вокруг себя. Для анализа высших чувств в стихотворной форме необходимы литературный талант и образование, вы правильно сказали. А у народа, к сожалению... – Бугачевский вздохнул, шутливо пожал плечами, снова рассыпал по клавишам звонкую капелю звуков. – Как вы думаете, удастся ли смастерить из этой мелодии увертюру к новой пьесе? Послушайте вот... Я сделал в ре-миноре, чтобы нашим гитаристам не пришлось перестраивать позиции...

– Ну, ребята перестроят – не заметят даже.

– Кстати, наша Калинка, кажется, собирается выходить замуж? Без её невероятного сопрано хор театра сильно проиграет. Я даже не знаю, кто смог бы заменить...

– Кто – Калинка? Замуж?! – Нина в изумлении, разом забыв обо всём на свете, уставилась на Бугачевского. – Но откуда же вы... Я ничего такого не знаю, она мне не говорила... Быть такого не может, чтобы... Почему вы так решили, Семён Михайлович?

– Ох, так это неправда? – Бугачевский страшно смутился и, неловким жестом сняв очки, принялся сосредоточенно их протирать носовым платком. – Ужас какой, до чего глупо вышло!

Я, кажется, сплетником становлюсь, а вовсе не хотелось бы... Что вы теперь обо мне подумаете?

– Да какой из вас сплетник, Семён Михайлович! И захотите – не сумеете! – успокоила Нина. Но любопытство распирало её изнутри. – А что – Калинка что-то вам говорила?

– Нет... Конечно же, нет. Должно быть, я её перепутал с кем-то. Вчера, видите ли, я пошёл в парк прогуляться, здесь же очень недурной городской парк. А мне, когда в голову приходят звуки, непременно надо ходить, и желательно одному, чтобы не отвлекали болтовнёй... Ну так вот, фланирую по одной из боковых аллей, пытаюсь представить себе оркестровку струнных, на аллее, кроме меня, никого... и вдруг вижу – на дальней скамейке пара! Женщина ко мне спиной сидела, и я сначала мужчину разглядел... И сразу впился глазами: ведь совершенно же цыганская физиономия, да ещё такая яркая, типажная! Не скажу, что красивый, нет, но вот играть у нас всякого рода злодеев, вожаков и проходимцев – превосходно бы подошёл! А потом смотрю – с ним Калинка! Хотя сейчас, после ваших слов, пожалуй, я уже сомневаюсь... Ведь уже вечерело, на аллее было темновато, да и видел я её сзади... Скорее всего, ошибся! Антонина Яковлевна, вы уж окажите мне любезность, не рассказывайте никому. Чего бы мне не хотелось – так это распускать слухи!

– Конечно, не скажу, – рассеянно отозвалась Нина. «Ну, Калинка... Ну, хитрюга... «Никогда замуж не пойду, ничего там хорошего нет...» Как бы впрямь из театра-то не сбежала посреди гастролей!»

– Как ты в театре оказалась? – спросил Сергей. Калинка, не отвечая, молча, внимательно смотрела на младшего брата. Как он изменился, не узнать почти... Сколько же они не виделись? Десять лет? Двенадцать? Да, двенадцать. С самой её свадьбы...

Вечернее солнце, наискосок пробиваясь сквозь листву старых лип самарского парка, пятнало лицо Сергея: тёмное, резкое, всё, казалось, собранное из острых углов. Накануне он, очевидно, не успел или забыл побриться, и щека его отливала сизой отросшей щетиной. Брат и сестра сидели на самой дальней скамье аллеи: сюда не заглядывали даже влюблённые парочки. В двух шагах белела, полускрытая ветвями акации, старая, потрескавшаяся скульптурная группа. Её подножие было испещрено неприличными надписями.

«Как же она называется? – вспоминала Калинка, глядя на уродливое улыбающееся лицо рогатого человека и девушку, которая небрежно оперлась бедром на его плечо. Рука у нимфы была отбита до локтя.

«Эта статуя стояла в Петергофе... Мы ходили смотреть на фонтаны и видели её. Ещё были такие стихи, у Тютчева, кажется... Или у Фета. «Смотри, как голову откинувши назад, глядит он на тебя и пьёт твой аромат, как дышат негой уста его и взоры... Быть может, нехотя ты ищешь в нём опоры...»

Калинка сама не знала, почему, словно не слыша слов брата, она всё смотрит и смотрит на полуразрушенную статую, вспоминая строки стихов, и почему это так важно для неё сейчас. Сердитый голос Сергея заставил её вздрогнуть.

– Калинка! Ты уснула?! Так я пойду тогда, у меня утренняя смена в шесть...

– Боже, Серёжка, прости... Не вздумай уйти! – Калинка, ахнув, вцепилась в рукав брата. – Прости, я задумалась... О чём ты говоришь?

– Я говорю – почему ты здесь, с московскими? – хмурясь, переспросил Сергей – и снова Калинка испугалась, видя, каким чужим, странным, почти незнакомым сделалось его лицо. – Я, когда тебя из зала увидел – чуть не умер! Ты куда мужа-то дела? Как тебя Лёшка на сцену выпустил? Или он сам вслед за тобой подался? Дети-то здоровы?

– Здоровы, а как же, слава богу! – с готовностью ухватила Калинка за последний вопрос. – Большие, Коленьке десять лет уже, совсем взрослый! И Наташа выросла, а Оля-

то!.. Они в гостинице остались, с нашими... Серёжа, а ты разве не слышал ничего? Про меня, про Лёшку? Ты... сам-то что здесь делаешь? Здесь, в Самаре? Про тебя столько лет ничего не...

Она не договорила. Сергей тоже промолчал. Тоненько пели комары. Из кустов сирени тенькала невидимая пеночка. Понимая, что невыносимо, невозможно сейчас спрашивать брата о том, где он был, что делал эти годы, Калинка, принуждённо улыбнувшись, сказала:

– А я ведь от Лёшки ушла, Серёжа. Давно уж ушла.

– А... – Сергей, казалось, не удивился. – Выгнал он тебя всё-таки? Мог бы и пораньше.

Калинка видела: у брата в мыслях нет её обидеть. В голосе Сергея не было насмешки: только горечь. Она пожала плечами. По-прежнему улыбаясь, с напускной лёгкостью спросила:

– Помнишь, как мы с тобой собирались убежать? Перед моей свадьбой?

– Помню. – отрывисто, не принимая её шутивого тона, отозвался брат. – Надо было тебя тогда не слушать. Связать, рот заткнуть да увезти. Тогда бы всё... совсем всё по-другому было.

Калинка только слабо отмахнулась, понимая, что Сергей прав.

Сама она вспоминала те дни перед свадьбой как полузабытый театральный спектакль. Шум, суматоха, испуганное и взволнованное лицо матери, полный дом сестёр, тёток, племянниц, подруг, родня со стороны жениха – оборванные, загорелые дочерна таборные тётки, их навязчивые расспросы, их шумная, крикливая речь... Шелест белого платья, разложенного на креслах, старинные, тяжёлые украшения в раскрытой шкатулке, разговоры, разговоры... А сама Калинка, шестнадцатилетняя, ходила как во сне, отвечая невпопад на вопросы, почти немая от ужаса и неверия: ведь такого не может быть, не может, не может, только не с ней, как же так... И ледяные пальцы никак не могли согреться, и мурашки кололи спину, и мучительно хотелось выскользнуть из дома, тихо прикрыть за собой дверь – и идти, идти не останавливаясь, куда глаза глядят...

Ночью накануне свадьбы Калинка, без сна провертевшись несколько часов в постели, вышла босиком, кутаясь в шаль, на кухню. Черпнула кружкой из ведра, жадно принялась тянуть холодную воду, – и чуть не выплеснула её всю на себя, когда, чуть скрипнув, открылась дверь и в кухню шагнул младший брат.

«Ты чего?»

«А ты чего?»

«Воду вот... пью...»

«И мне дай.»

Калинка протянула недопитую кружку, и Сергей вытянул воду в два глотка. Он сильно вырос в этот год, вместо четырнадцати ему легко можно было дать восемнадцать. Но ещё по-мальчишески остро торчали плечи и локти из-под наспех натянутой рубахи, и лоб он морщил совсем по-детски. А чёрные глаза смотрели из-под сумрачных бровей хмуро и остро.

«Вот что, Калинка... Давай уедем отсюда. Прямо сейчас. А?»

Она даже не сразу поняла его слова. И долго, изумлённо смотрела на брата снизу вверх, тщетно пытаясь поймать в темноте его взгляд, – до тех пор, пока Сергей не взорвался яростным шёпотом:

«Ты меня слышишь?! Хватит реветь! Времени нет реветь! Уезжать надо!»

«Серёжа, что ты! – Калинка в глубине души гордилась тем, что за всё время этого невозможного, нелепого, чудовищного предсвадебного переполоха не проронила ни слезинки, а сейчас вот разом и растерялась, и обиделась. – Что тебе в голову взбрело? Я и не плачу совсем...»

«Плачешь. – упрямо сказал Сергей, подходя вплотную и садясь на пол у ног сестры. Лунный свет упал на его напряжённое лицо. – Неделю уже плачешь. Я же вижу. Ничего там хорошего в таборе не будет. Поехали.»

«Серёжа, да что ты? Что выдумал, боже мой... – Калинка через силу рассмеялась. – Куда я побегу? И тебя ещё с собой прихвачу, да... Чтобы мама от горя умерла? А отец...»

«Что – отец?! Куда он тебя пихает?! К подколёсным?! Босиком по базарам бегать, копейки кланчить? Отец почёта хочет, дурь башку разбила, спьяну тебя просватал, а ты...»

«Серёжа, Серёжка, господь с тобой! – всерьёз испугавшись, Калинка зажала брату рот ладонью. Он тут же вырвался, по-жеребачьи мотнув головой, вскочил на ноги. Нагнувшись к сестре, почти с угрозой спросил:

«Что – неправ я? Вру?!»

Он был прав, прав от начала и до конца, и Калинка сама уже сотню раз повторила про себя те же самые слова, боясь собственных мыслей и отчётливо понимая, что они – верны... А Сергей, почуввав колебание сестры, схватил её за обе руки и снова торопливо заговорил:

«Калинка, побежали! Я с тобой буду, мы вместе, я – мужчина, не пропадём! Я работу найду, устроюсь на завод, скажу, что мне уже семнадцать, в ученики точно примут! И тебя пристроим куда-нибудь! У тебя же семилетка, курсы машинописные, могут даже в контору взять! Бежим, Калинка! Ты же пропадёшь в таборе, понимаешь? Ты же умрёшь там! Отцу наплевать, а мне – нет!»

На миг Калинка подумала: «И в самом деле...» Но горячность четырнадцатилетнего брата, та лихорадочная сила, с которой он сжимал её руки, всерьёз напугала её, и она осторожно высвободила занывшие запястья.

«Серёжа, ты с ума сошёл... У меня ведь синяки останутся! Серёженька, но так же нельзя... Нельзя, понимаешь? Мы же цыгане... Что про нашу семью скажут, про меня, про родителей? Это ведь какой позор будет, разговоры пойдут! С мамой что будет, с отцом?»

«Ничего с ним не будет, со старым пнём!» – почти выкрикнул Сергей. И они оба испуганно обернулись на чёрную дверь. На миг Калинке показалось, что там кто-то стоит: страх ледяной струёй обдал спину. Но в сенях было тихо, темно.

Калинка вздохнула. И, глядя прямо в глаза брата, чётко, отдельно выговорила:

«Забудь всё, что ты сказал. Отец так решил – значит, так тому и быть. Я выйду за того Лёшку. Он, кажется, вовсе не плохой. А ты... не говори так больше никогда. Мы цыгане. Отец велел – значит...»

«Дура!» – бешено, в полный голос выкрикнул брат ей в лицо. Вскочил и вышел, хлопнув дверью. С крючка сорвался жестяной ковш, загремел по полу, катясь под стол. Калинка упала на колени, схватила ковшик дрожащими пальцами – и захлебнулась рыданием...

– Почему ты меня тогда не послушала? Калинка, а?

– Серёжа... Ну куда бы мы с тобой поехали? Мне шестнадцать было, тебе – и того меньше... Подумай, мы бы одни на всём свете оказались!

– Так мы теперь и так одни, – криво усмехнувшись, ответил Сергей. – На всём свете. При своих остались, сестрёнка, разве нет? Только ты бы горя не хлебнула, а я...

Он умолк, отвернувшись к гаснущему за крышей Летнего театра солнцу и ожесточённо смяв в пальцах так и не разожжённую папиросу. А Калинка вдруг поняла, что должна спросить брата о том, что три года жгло ей сердце, что если она не спросит сейчас – после никогда уже не осмелится...

– Серёжа... Как же так вышло тогда... с тобой?

И по взгляду брата она тут же поняла, что он ждал, мучительно и напряжённо ждал этого вопроса. Похолодев, Калинка поняла: если сейчас Сергей встанет и уйдёт, она не найдёт в себе сил броситься за ним и удержать. Но он не ушёл. Не глядя бросил в траву папиросу – и упёрся в лицо сестры странным, чужим взглядом, который так пугал её:

– Вот если скажу, что сам не знаю, – согласишься?

– Не знаешь, как... человека убил?

– Ты почему на суд не приехала?

Калинка настолько не ждала этого вопроса, что не сразу нашлась что ответить. Сергей схватил её за руку, с силой, не жалея, стиснул:

– Почему ты не приехала? Все наши были! Из Вишеры, из Пскова, из-под Новгорода! Таборные – и те припёрлись! Почему тебя не было?!

– Но... Серёжа... Я же не знала, клянусь тебе, я не знала ничего! Я тогда только-только от Лёшки ушла, в Туле жила, у гаджен... Ни с кем из цыган даже не виделась! Когда мне всё рассказали, уже полгода прошло! Я чуть с ума не сошла, ей-богу, правда!

Пальцы Сергея разжались.

– Ты... не знала? – хрипло, недоверчиво переспросил он.

– Да клянусь же тебе, – нет! – с облегчением, едва удерживаясь от желания растереть ноющие пальцы, выпалила она. – А ты что подумал? Что я тебя увидеть после этого не захочу? Да? Так ты решил?

Сергей усмехнулся, мотнул головой, – и Калинка убедилась, что именно так он и подумал.

– Дурак... – горько сказала она, отворачиваясь. – Дурак... А ещё брат родной! Да мне вовсе, слышишь ты, вовсе наплевать на... Ты ведь всё равно мой брат! И всегда им будешь! Потому что у нас мать одна и отец один! Но как тебе, болван, в голову пришло живого человека зарезать?!

– Да ведь мы просто подрались, Калинка, – почти спокойно ответил Сергей, доставая измятую пачку «Новой марки». Но пальцы его тряслись, и в конце концов папиросы упали на траву. Сергей не нагнулся за ними. – Ты же помнишь Ваську-то Абаурина? Он и трезвым за языком сроду не следил, хуже бабы сплетни таскал по всей Новой Деревне. Не думай, я не потому говорю, чтобы...

– Да знаю, Серёжа, знаю... Помню я Ваську! Я же за него чуть замуж не вышла! Забудешь такое!

– Уж лучше бы, наверное, вышла, – сквозь зубы процедил Сергей. – Васька ведь так и не успокоился. Со злости на твоей подружке женился, двух детей родил, а всё имени твоего спокойно слышать не мог! И на той свадьбе напился в стельку, как гаджо последний, – и давай о тебе всякое... Кто ему только рассказал? Мы и сами-то тогда ещё про тебя ничего не знали, а этот... На весь дом гоготал и кричал, что тебя муж таборный прогнал, потому что ты с кем-то там, что-то там... Сама понимаешь, я дослушивать не стал. Мы с Васькой пьяные оба были, и стариков рядом – никого. Я его ударил, он – меня, потом я что-то со стола схватил... И всё. Я опомнился, когда уже кровь хлестнула. – Сергей снова судорожно, мучительно улыбнулся, нагнулся за папиросами – и на этот раз вытянул дрожащими пальцами одну.

– Всё, Серёжа, всё... Не говори больше. Не нужно об этом думать...

– Не нужно, говоришь? – с неловким смешком переспросил он. И умолк, потому что Калинка тихо, горестно расплакалась, уткнувшись лицом в ладони.

Солнце село за деревья, и в парке стало сумеречно. Звонче, назойливее запели комары. Где-то за оградой наигрывала гитара, перебивал её уверенный хриловатый баритон: «Спокойно и просто мы встретились с вами...» И гитара, и голос фальшивили, и брат с сестрой одновременно поморщились, словно от зубной боли.

– И ты уехал?

– А как оставаться было? – удивился Сергей. – Конечно, уехал. С отцом и не прощались. Суд-то он как-то выдержал, а после – свалился... Потом мне уж рассказали: мать его подняла. Я в первый попавшийся состав прыгнул – и поехал... В Самаре оказался. На электrozавод пошёл, аттестат показал, трудовую книжку, сказал, что разряд имею. Взяли без разговоров. Ну и всё...

– Ты совсем один живёшь?

– Зачем же один?

– Ракли?

Брат пожал плечами.



– Она знает?

– Ещё чего... Зачем?

– Она хорошая? Любит тебя?

– Баба как баба, – помолчав, неохотно отозвался Сергей. – На текстильной намотчица. Зинкой звать. Хорошая, ничего.

И по этому тону, по ускользнувшему взгляду брата, по горькой морщинке в углу губ Калинка поняла, что счастья у него нет.

Парк неотвратимо темнел. Из оврага украдкой выползал туман. Тонкий месяц поплыл над кронами деревьев, кутаясь в ещё розоватые, нежные кружева облаков. Становилось душно. Со стороны реки доносился чуть слышный рокот: собиралась гроза. В траве мелькали тускло-зелёные пятнышки светлячков. Сильно,пряно пахло цветущими пионами.

– Тебе, должно быть, идти надо, – не поднимая головы, напомнил Сергей. – Ты-то сама замуж ещё не вышла? В театре твоём?

– И не вышла, и не выйду, – отозвалась Калинка. – Побыла замужем, хватит. Больше никто не выдаст.

– Как ты там оказалась?

– Попала в Москву и пришла. Спела, и взяли.

– Вот прямо так? С улицы? – недоверчиво усмехнулся Сергей. – Своих у них, что ли, мало?

– Выходит, мало, – пожала плечами Калинка. – Им таборные нужны: театр-то народно-рабочий должен быть.

– И что, много платят?

– Какое там «много»... Но ты ведь меня знаешь. Я по-цыгански заработать никогда не умела. Восемь лет в таборе прожила – и всё равно не выучилась. Ни просить, ни гадать, ни взять... К этому или талант надо иметь, или во всём этом родиться и вырасти, – как кочевые. А у меня – ни того, ни другого. И сама мучилась, и Лёшку мучила. – Калинка тяжело вздохнула, задумалась. Сергей молча ждал.

– Знаешь, а Лёшка ведь терпел. И меня почти не бил. Два раза всего у него сердце сорвалось, а мог бы...

– С-сукин сын...

– ...а мог бы каждый вечер кнут об меня трепать! Знаешь сам, как по таборам-то жён учат...

– Ты мне его не оправдывай!

– А он ни в чём и не виноват! – с сердцем отозвалась Калинка. – Не он меня взял – отцы сосватали! Я мучилась – и Лёшка мучился, а деваться некуда было, ни ему, ни мне! Ушёл к другой – и слава богу, руки мне развязал! Боже, Серёжа, ты не поверишь, как мне хорошо стало, как легко! Сначала, конечно, больно было... но больше от неожиданности. Я ведь не ждала, что Лёшка вот так... Вот так... даже слова мне не сказавши... Но потом посидела, подумала – и поняла, что мне ему ноги за это поцеловать нужно! Что мне из тюрьмы двери открыли, понимаешь, – с каторги выпустили! И никогда больше... Никогда больше ни гадать не пойду, ни Христа ради просить! И дети мои тоже не пойдут! Не для того я живу, понимаешь?

– Я-то понимаю, – без улыбки отозвался брат.

– Я в Москву приехала – думала на фабрику пойти или в артель какую-нибудь. А получилось, что в театр попала! И взяли, и деньги платят, хоть и гроши. Но мне ведь много не нужно! К осени вернёмся – я Колю и Наташку в школу отведу!

Сергей молча кивнул, улыбнулся, – и снова от этой улыбки у Калинки сжалось сердце.

Внезапно жаркая, нежданная мысль так ударила в виски, что Калинка вздрогнула. И осторожно улыбнулась, сама боясь поверить тому, что пришло ей в голову.

– Что ты? – изумлённо спросил Сергей, с недоверием глядя в засветившиеся глаза сестры.

– Серёжа... Послушай... Я вот что подумала... Может быть, и тебя?... И ты тоже?... Может, и ты в театр придёшь? А?! Ты ведь гитарист хороший, ты у отца в хоре пел, ты лучше их всех... Серёжа, это же правда! Пойдём, а? Прошу тебя, пойдём!

– Да брось, глупая, что ты... – запнувшись, принуждённо рассмеялся он. Но Калинка, обрадовавшись этой запинке, схватила брата за плечо.

– Серёжа! Подумай! Отчего же нет? Меня взяли – и тебя возьмут! Им народные кадры нужны, понимаешь?! Я с улицы босиком пришла, в драной кофте, – и меня взяли! А уж тебя-то... Серёжа, там, конечно, гитаристы прекрасные, но ведь и ты у меня... Серёжа, да ты им только споешь, споешь то, что мы с тобой... «Снова слышу» или «В последний раз...» – и они в обморок упадут!

– Да ну тебя, с ума сошла...

– Ничего не сошла! Серёжа, но даже если... Ну вот что! – вдруг решительно заявила Калинка. – Если тебя не возьмут – я тоже из театра уйду! И останусь здесь, в Самаре, с тобой! У меня семилетка, я куда угодно на работу могу устроиться, ты сам сказал! И если я теперь не одна... Если ты нашёлся, если ты со мной... Боже мой, Серёжа, я о таком счастье и подумать не могла! Мне теперь ничего не страшно!

– Калинка... Постой ты, совсем с толку сбила! – Брат смотрел на неё в упор тёмным, острым взглядом, не улыбался. – Но послушай... Как же я приду в театр твой? Там же, сама говоришь, – цыгане... Они же знают про меня! Они знают, что я...

– Никто ничего не знает! Ни про меня, ни про тебя! Они – московские, артисты, питерских там – ни одного! А если и узнают – что с того? Серёжа! – Калинка вскочила со скамьи. – Решай как хочешь, но я от тебя не уеду! Слышишь – не уеду! Никуда! Ты мой брат, мой родной брат! У меня, кроме тебя и детей, больше никого на всём свете нет! Шагу я от тебя не сделаю! И если ты в театр не хочешь – я с тобой остаюсь! Не прогонишь ведь, пшалоро? Это ведь чудо, понимаешь ты, чудо, что бог нас здесь свёл! Что ты пришёл в театр и меня там увидел! А если бы нет? Что тогда?!

Сергей натянуто усмехнулся, пожал плечами. Хотел было сказать что-то – и не смог. Папироса запрыгала у него в губах, и он с силой выплюнул её. Отвернулся было – но Калинка обняла его. Он дёрнулся было в сторону – сестра удержала. И Сергей, как в детстве, уткнулся лицом в мягкие складки её кофты, крепко, до боли прижав Калинку к себе. Папироса ярко мигнула из травы, спугнув бледно-зелёного светлячка, – и погасла. Глухо, натужно, словно предупреждая о чём-то, проворчал из-за реки гром.

\* \* \*

– Да чтоб вы передохли! Чтоб вас по рельсам размазало и по шпалам раскатало! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Чтоб жёны кишки ваши в решето собирали и на катушки сматывали! А ну говори, а ну отвечай, а ну скажи так, чтоб люди слышали, – что я взяла? Что я у советской власти взяла?! А?! Ишь ты, цыганка уголь украла! Да что мне с твоим углём делать, куда его втыкать, в какое место?! Ты соскреби, соскреби с меня то, что я взяла, и в кучку сложи! Пусть люди увидят, какая гора до небес вознеслась, самому богу пятку колет! Пусть люди скажут – есть у тебя, бриллиантовый, мозги, или нет?! Ну? Ну?! Тьфу на тебя, тьфу на тебя, никуда я с вами не пойду, никуда, никуда!

«Меришка, что ли, кричит? – подумал сквозь сон Семён, улыбаясь и переворачиваясь на другой бок. – Какой она уголь там уволокла?»

– Морэ, вставай! – вдруг зашипели ему в ухо с такой страстью, что Семён сразу же сел торчком. В лицо ему смотрела заросшая чёрной бандитской щетиной Лёшкина физиономия. Щека друга была вымазана рыжей глиной и травяной зеленью. Рубашка была мокрой. Передёрнув плечами, Семён заметил, что и его рубаха прилипла к спине.

С того дня, как друзья пришли на рассвете в свой опустевший табор, минуло уже три недели. Из пустого товарного вагона, в который цыган пустила стрелочница, их выгнали через два дня и, как оказалось, правильно сделали: состав свернул не к Ярославлю, а к Твери. Семёну и Лёшке пришлось тридцать километров возвращаться пешком по шпалам до нужного стрелочного перевода. Жара стояла страшная, духота давила на плечи, рельсы сияли под палящим солнцем, слепя глаза. За лесом время от времени погромыхивало; изредка через выцветшее от зноя небо лениво переползала разбухшая гряда облаков. Страшно хотелось пить, от усталости гудели ноги, и Лёшка всё чаще и чаще поглядывал на друга, – но Семён шёл не останавливаясь, не оглядываясь и не сбавляя хода. Рубаха на его спине взмокла от пота, сапоги подёрнулись жёлтой пылью до верха голенищ, – но Семён шёл и шёл по шпалам мерным, неспешным, ровным шагом.

«Как гнедой-трёхлетка в упряжке! – и восхищался, и сердился Лёшка. – Хоть бы попить остановился...»

После полудня он не выдержал:

– Сенька! Вон колодец! Давай хоть водицы похлебаем! Сил же нету никаких!

Семён остановился, обернулся и несколько мгновений смотрел на друга словно не узнавая. Лицо его было покрыто пылью до самых бровей. Задрав голову, он взглянул на солнце, шумно вздохнул и объявил:

– Коней... посреди пути... не поят. Вернёмся на развилку – напьёмся... чтоб с ноги не сбиться.

– Да нешто ж мы кони, морэ?! – взвыл Лёшка. Но друг отвернулся и снова упрямо зашагал по шпалам. Лёшка сплюнул, тоскливо выругался и потащился следом.

Семён добился своего: на закате, красным, душным киселём растёкшемся над лесом, они вернулись на злополучную развилку – чуть живые от жажды и усталости. Лёшка тут же скатился по насыпи к колодцу, вцепился в выглаженную до блеска ручку ворота, выволок полное ведро – и приник к холодному краю, глотая свежую, холодную, невероятно вкусную воду, постанывая от счастья. Он выпил чуть не полведра, с наслаждением умылся, вылил остатки воды себе на голову и протяжно охнул, чувствуя, как холодные струйки щекочут горячую кожу под рубахой.

«Дэвлалэ-э-э... Спасибо, господи...» Шумно выдохнув, Лёшка поставил ведро на чёрный от сырости, сочащийся каплями сруб, вытер рукавом лицо, оглянулся – и обнаружил, что Семён исчез.

«Бог ты мой!» Лёшка взлетел на насыпь, растерянно осмотрелся. Вокруг – никого. От недалёкого болотца доносились тоскливые крики какой-то птицы. Солнце ещё не село, пылающим шаром застряв в березняке, красные полосы пластались на пустых рельсах. Поодаль на шпалах сидели две сороки.

– Сенька! Морэ! – позвал Лёшка, и сороки с громким негодующим стрёкотом метнулись в рощу. Лёшка тоскливо оглянулся, чертыхнулся – и припустил по шпалам обратно.

Сенька нашёлся через полверсты – в светлых сумерках Лёшка сразу заметил его серую рубаху. Друг стоял у растрёпанных кустов лещины и что-то аккуратно выпутывал из ветвей.

– Ты с ума свихнулся, дурак?! – заорал Лёшка, чувствуя, как от облегчения вспотела спина. – Куда один ушёл? Не сказавшись? Воды попить спокойно не даст, жеребец двужильный! Хоть бы пальцем ткнул, куда пошёл! Нам же друг от друга теряться нельзя! Запропадём поодиночке-то! Что ты там, на кусту, увидал? Орехи же месяца через два только... – Он осёкся, потому что Семён обернулся – и впервые за последние дни Лёшка увидел на лице друга широкую и ясную улыбку. Белые зубы сверкали с грязного, запылённого лица, когда Семён протянул другу пёстрый кусок ткани с бахромой.

– Вот! Глянь! Правильная дорога наша! Это – Меришкина шаль, которую я ей ещё до голодухи в Ростове купил! Всю ярмарку обошёл, пока самую красивую не сыскал! Видишь –

шалёнка малиновая, а бахрома на ней – синяя с морозом, во всём таборе ни у одной цыганки такой не было! И незабудочки голубые – видишь?!

Незабудки на лоскуте были не голубыми, а почти белыми, давным-давно выгоревшими на степном солнце, – но улыбка Семёна была такой радостной, а глаза с чумазой физиономии сияли таким счастьем, что Лёшка против воли улыбнулся тоже, шагнул к другу – и они обнялись под кустом лещины, по колено в тумане, под сиреневым, ещё слабо тлеющим на закате небом.

– Теперь будем идти и на кусты поглядывать! – раздумывал вслух Семён, взбираясь на насыпь. – Коль уж Меришка сообразила шаль порвать да до куста её докинуть, – стало быть, и дальше шпёрки оставлять будет! И другие цыганки тоже набросают! Мы теперь с пути сбиться никак не сможем... да куда ты меня назад тянешь-то?! Нам вперёд надо!

– К колодцу нам надо вернуться, дорогой мой! – лопнуло Лёшкино терпение. – Или ты решил до самой Сибири не пимши скакать? Так даже с лошастью хороший хозяин не обойдётся, а ты со мной что делаешь? Пошли, говорю, хоть воды напьюсь, жрать всё равно нечего! Там я крушину приметил, на ней ягоды, хоть их пожуём... И домики какие-то стоят, может, постучаться? Авось дадут чего?

– Кто нам с тобою даст? – невесело отмахнулся Семён, шагая следом за другом по шпалам. – Кабы тут моя Меришка была или хоть твоя Аська... Прошвырнулись бы по домам, погадали бы, попросили, детьми потрясли... А нас с нашими-то рожами только со двора прогонят. И хорошо, если милицию не позовут!

– Загнёмся с голоду, – тихо и уверенно предрёк Лёшка. – Как идти, если брюхо к спине липнет?

Семён в ответ только упрямо засопел.

В тот вечер они, измотанные до полусмерти, уснули под кустами, даже не почувствовав голода. Но, проснувшись на рассвете, в сыром и влажном сумраке, под униженными росой, как стеклярусом, набрякшими ветвями крушины, Лёшка почувствовал, как невыносимо сосёт в животе. Видимо, те же ощущения были и у Семёна, потому что, проснувшись, тот сразу же сказал:

– Идём грибы искать! Рано ещё, конечно, но хоть сыроежку сгрызть...

С грибами им неожиданно повезло: в низком молодом ельнике в самом деле отыскались ранние сыроежки с серыми и розовыми шляпками, и цыгане испекли их над костром. Быстро, обжигаясь и давясь, заглотали – и с тоской уставились друг на друга. Было очевидно, что на таких харчах далеко не уйдёшь.

– Надо на работу подряжаться, морэ, – хмуро предложил Лёшка, глядя, как над сизыми макушками елей поднимается розовое, влажное, укутанное золотистым туманом солнце. – Пойдём в город, порасспросим... Неужто стройки не найдём? Здесь – не Москва, авось паспортов не спросят.

Сенька упрямо мотнул головой.

– Сразу ведь всё равно не заплатят. Месяц отпашем – тогда только... А за месяц неизвестно куда наших завезут! И ни одной тряпочки на кустах не останется! Нет, Лёшка. Торопиться надо.

– С голоду сдохнем, – напомнил Лёшка. Сенька молчал, глядя в прозрачные язычки пламени. Он понимал, что друг прав и что на одних сыроежках далеко не ушагаешь. Но всё равно нужно идти и идти, не сводя глаз с придорожных кустов, не пропуская ярких лоскутков, что лишь тогда они найдут своих... Что, возможно, ещё немного – и они догонят... Ведь должны же эшелоны стоять иногда! Хоть ночью!

– Так ведь и мы ночью спим, – напомнил Лёшка, и Семён, вздрогнув, сообразил, что думал вслух. Он поднял глаза на друга, криво усмехнулся, увидев его испуганное лицо.

– Боишься, что ночью идти заставлю?

– А кто тебя, дурака, знает... Ума-то нет! – пробурчал Лёшка.  
Семён отмахнулся, вздохнул и поднялся.

– Ладно... Идём.

Уже в темноте они дошагали до городка, чернеющего на фоне закатного неба крышами, трубами и накренившейся колокольней, забрались под пустой вагон на заросших полынью путях – и уснули. А наутро Лёшку разбудил истошный визг, и он, едва продрав глаза, понял: ни одна гаджи так вопить не сможет.

Вскочив на перрон, цыгане увидели небольшую толпу, двух рассерженных железнодорожников – и непонятное, смахивающее на чёрта, встопорщенное существо, которое прыгало на месте от негодования и верещало так, что закладывало уши. В первый миг Семён даже попятился, а Лёшка испуганно схватился за плечо друга. Но через минуту оба расхохотались: цыганка была до самых глаз вымазана угольной пылью. С лакированно-чёрного, как у негра, лица сверкали зубы и белки глаз. Цыганка потрясала кулаками и вопила не останавливаясь:

– Смотрите вы на них, а?! Я советский уголь украла! Ага, ага! И съела его весь! Прямо полвагона съела, а вторые полвагона с собой заберу, на зиму засушу!

– Да ты, дура, понимаешь, что не положено в товарняках ездить? – тщетно пытался перебить её пожилой сердитый железнодорожник. – Да как ты туда влезла-то, чёртова кукла? На какой станции? Надо тебе ехать – покупай билет и ехай! Хоть в мягком, хоть в жёстком, хоть...

– В мягком?! Да чтоб твой отец на тот свет в мягком ехал, откуда у меня деньги?! А?! Деньги, я тебя спрашиваю, у меня откуда?! Посмотри на меня, я рваная, босая и несчастная! Ты заплатишь, чтобы я в тот мягкий уселась?! Кому, я спрашиваю, кому я в вагоне мешала? Какой-такой советский уголь воровали, а-а-а?! – заголосила вдруг цыганка на такой пронзительно-режущей ноте, что зажмурились все, а пожилой железнодорожник даже присел. Второй служащий – молодой парень, почти мальчишка с выбивающим из-под фуражки соломенным вихром, гневно замахал на цыганку руками, топнул ногой:

– Да захлопнись ты... гудок фабричный! Понимаешь, что это против власти преступление – в товарняках ездить?! Этот состав с польской границы шёл! Ты в нём с самой Варшавы ехала, небось? Шпионка?

– Что? Я?! Шпивонка?! – задохнулась от возмущения цыганка. Всплеснув руками, она набрала было воздуха для нового вопля, но молодой железнодорожник решительно схватил её за руку.

– А ну перестать орать! Идём! В милиции разберутся, откуда и куда ты в том вагоне ехала! Ваших-то, иностранных цыганских шпионов, сейчас по всей стране вылавливают! Велено следить!

– Родненький! – ахнула цыганка, и голос её сразу сел до сипа. – Золотенький, да ты что? Да какая я шпивонка, что ты себе в голову забил? Мы же цыгане, просто цыгане! По каким-таким я шпивонским делам ехала, я же к мужу верталась, я...

– Вот ты где, проклятая! – вдруг загредел над платформой суровый голос. И железнодорожники, и цыганка обернулись на него – и уставились на идущего спорным шагом прямо к толпе цыгана в измятой рубахе, с кнутом за поясом и мрачным выражением лица. Чёрные волосы стояли торчком, как у лешего. Из-под насупленных бровей грозно блестели глаза.

– Вот ты где, зараза! – на ходу лихорадочно импровизировал Семён, стараясь не думать о том, что будет, если железнодорожники уже успели свистнуть милицию. – Вот ты где, дура проклятая! Да на кого ты похожа, чучела?! Ну, я тебе сейчас!.. – Подойдя, он вежливо отстранил растерявшегося железнодорожника, грубо схватил цыганку за плечо и с размаху швырнул её на перрон. Та с визгом повалилась на колени. Толпа загудела, кто-то засмеялся, кто-то уважительно выругался. Семён выдернул из-за пояса кнут.

– Начальник, миленький, моя это баба! В гости к родне ездила, только вот сейчас вернулась! Дура, она, родной, дура, а не шпионка! Что поделать – кочевая, лесная, никак к советской жизни не привыкнет! И денег ведь ей давал, и велел по-людски билет купить – нет! Никого не слушает! Взобралась в товарняк – и покатила! Что ты с ней делать будешь? Ромны, джя явры сыгедыр<sup>8</sup>!

– Ой, Стёпочка! Ой, родненький, я больше не буду! Умереть мне, не буду больше! Морэ, миро дад дэ адава вагоно бэшэл... Ёв совэл, ничи на шунэл<sup>9</sup>... А-а-а-а!

– Ах ты, проклятая! Доездилась?! Доигралась, в шпионки попала?! Ну, я тебе сейчас... Товарищ, миленький, да мы же с ней местные, на улице Ленина живём, где где домики деревянные... – торопливо сочинял Семён, по опыту зная, что улица Ленина нынче имеется в любом, самом крохотном городишке и, уж конечно, на ней будут деревянные домики. Не давая зрителям опомниться, он взмахнул кнутом. Свистнула, разворачиваясь, кожаная змея. Цыганка заверещала, закрывая голову руками:

– Стёпочка! Миленький! А-а-ай!

– Я тебе сейчас покажу, паскуда, как в шпионки записываться! Я тебе покажу, как по товарнякам лазить! Ты у меня узнаешь, как мужа и советскую власть не слушаться! Я с тебя всю шкуру спущу, до костей, чёртова холера!

Кнут свистел. Цыганка визжала. Толпа стояла в окаменелом изумлении. Молодой железнодорожник, машинально придерживая съехавшую на затылок фуражку, оторопело смотрел, как цыган с размаху хлещет кнутом скорчившуюся женщину. Его старший товарищ опомнился первым – и, подскочив, схватил Семёна за руку.

– Эй, цыган, ты что – рехнулся?! Ты что тут творишь? Бабу-то живую, – кнутовьём?! А ну, перестать! Хватит, говорю, развёл тут!.. Сейчас я тебя самого в милицию сведу! За издевательства! Над раскрепощённой женщиной! Забыл, где живёшь? Отойди от неё, говорят! Да что вы за люди за такие?! Всё как при царе у вас до сих пор... Словами, словами бабе толковать надобно!

– Да нешто она слова поймёт, дорогой мой? – заорал и Семён, выдираясь из рук железнодорожника и яростно загоняя кнут за пояс. – Я сам на стройке работаю, где церковь недавно снесли...

– На Заречной, что ль?

– На ней, на ней... И брат мой там же, и отец... А эта – ничего соображать не хочет! И детей ещё глупостям учит!

– Ну так... по-человечьи же вразумлять надо! Кнута-то и скотина не любит, а тут – баба... Человек какой-никакой... Сдурел ты вовсе, цыган, право слово! Не положено ведь по закону – эдак-то жену учить! Ни вашим, ни нашим! У меня ведь тож старуха имеется... По временам смерть как убить хочется – раз и навсегда! А никак невозможно, потому – грех и живая душа... чтоб ей сгореть без суда и следствия...

В ответ на эту глубокомысленную сентенцию Семён лишь тяжело вздохнул. Посмотрел на рыдающую «жену» и поднял полный горести взгляд на возмущённого железнодорожника.

– Да ты взгляни на неё, родной! Взгляни и скажи – чему её научишь? Как есть головешка... морально дефективная! Вставай уже, проклятье моё немытое, хватит выть! Пошли домой! Опять на полгорода меня опозорила, поганка...

Цыганка вскочила, подпрыгнула – и дунула прочь с платформы: только взметнулась грязная юбка. Семён двинулся следом, едва удерживая себя от того, чтобы тоже сорваться на бег.

<sup>8</sup> Женщина, беги отсюда быстрее!

<sup>9</sup> Друг, у меня отец в этом вагоне сидит. Он спит, ничего не слышит.

– Спасибо, дорогой, – сипло поблагодарила цыганка, едва они оказались в узеньком, заросшем черёмухой проулке у станции. – Спасибо, пропала бы я без тебя! Это же надо – шпи-вонкой назвал! Цыганку-то! Совсем с ума посходили...

– Сильно я тебя приложил? Старался мимо, да пару раз всё-таки попало...

– Ай! Говорить не о чем! – лихо заверила цыганка, поддёрнув разорванный рукав кофты так, чтобы не было видно вздувшегося на коже рубца.

– Как тебя звать, чья ты?

– Изюмка, из смоленских...

– Так, выходит, наша? – обрадовался Семён, с трудом подавив смех: чёрные, живые, блестящие глаза цыганки в самом деле напоминали крупные изюмины, и прозвище казалось удивительно точным. Изюмке на вид было около тридцати, но худенькая, лёгкая фигурка её казалась девичьей, а улыбка – по-детски ясной.

– Я – смолякоскиро, слыхала? А друг мой – из ксанёнков... Лёшка, поди сюда! Ты где там? Вылезай! Дэвлалэ... это что у тебя? С ума сошёл?

Из-за кустов выглянул Лёшка. Его небритая физиономия была грозной и испуганной одновременно, а в руках Лёшка сжимал обломок ржавой трубы.

– Никуда я не сошёл! Я слышу, гаджэ галдят: «В милицию, в милицию...» Выглядываю, вижу – ты ругаешься, кнутом машешь, цыганка вопит, и толпа кругом... – Лёшка бросил трубу и смущённо улыбнулся. – Я сперва испугался – смерть! А потом эту железяку увидел – и подумал: уж пару человек ей с ног всяко сшибить можно... А потом бы – в лес все вместе! Не догнали бы!

– Дурак, – устало махнул рукой Семён. – Тогда бы всех сразу, пачкой, и повязали. Не может Изюмка бежать-то! Отец, понимаешь, у ней в вагоне остался! Сходи-ка лучше посмотри, – народ на платформе разошёлся? Деда вынимать надо!

Ещё с полчаса цыгане сидели в кустах у насыпи, ожидая, пока рассосётся толпа. Когда перрон опустел, они осторожно, по одному пересекли рельсы. Сразу возле железнодорожного полотна начинался заросший медуницей, ромашками и зверобоем лужок, на котором под ярким солнцем сухо и монотонно стрекотали кузнечики и свистели наперебой чибисы. Отцепленный вагон стоял один-одинёшенек, вокруг не было ни души. Оглядевшись, Лёшка вполголоса позвал:

– Эй! Пхурором! Выджя, рая угэнэ сарэ<sup>10</sup>!

Некоторое время никто не отзывался: тишину по-прежнему нарушали лишь птичье посвистывание и сухой треск кузнечиков. Изумлённый Лёшка, покосившись на друга, попробовал ещё раз:

– Пхурором! Выджя<sup>11</sup>!

Ни звука в ответ. Лёшка повернулся к Изюмке.

– Ты, ромны, вагон не спутала, случаем?

Не ответив, цыганка подошла к дощатой, испещрённой надписями стене – и со всей мочи бухнула в неё кулаком, завопив так, что с кустов с паническим писком взвилась стая воробьёв:

– Дадо! Ушты<sup>12</sup>!!!

Тишина. Затем послышались возня, крик и рычание, – словно в вагоне просыпался после зимней спячки медведь. Звучало это так устрашающе, что Лёшка попятился. Семён усмехнулся – но сам невольно шагнул назад, когда из вагона медленно и торжественно появилась всклокоченная голова и взъерошенная сивая борода веником. Лица цыгана не было видно: всё оно, как и мордашка Изюмки, было сплошь вычернено угольной пылью. Широленные

---

<sup>10</sup> Эй, дед! Выходи, начальники все ушли!

<sup>11</sup> Дед! Выходи!

<sup>12</sup> Отец! Вставай!

плечи старика обтягивала солдатская гимнастёрка: тоже вся чёрная. Огромные корявые руки ухватились за край вагона – и дед легко, как молодой, одним прыжком выскочил из него.

– Изюмка, что кричишь? Приехали?

– Ой как приехали! Уж куда как приехали! Так приехали, что меня уже чуть не заарестовали, если бы не эти ребята! – замахала руками Изюмка. – Дых<sup>13</sup>, они из наших тоже, из смоленских!

– Ты что же, пхурором, неужто не слышал ничего? – недоверчиво спросил Семён, подходя ближе и окидывая уважительным взглядом могучую фигуру деда. – Изюмка твоя тут так кричала, что мёртвый проснулся б!

– Мёртвый – да, а отец ни за что бы не проснулся! – гордо ответила вместо старика Изюмка. – У них в роду все мужики такие: хоть кричи над ними, хоть стреляй, хоть колокольню ломай, – не проснутся!

– Прямо как этот... как же его... – Семён наморщил лоб, вспоминая сказку, которую когда-то рассказывала жена. – Дядька Черномор, вот кто!

– Я не Черномор, чяво, – солидно и слегка обиженно ответил старик, тщательно вытирая чёрной ладонью лицо. – Я – Командир. Дед Вано Командир! Слышал?

Своё прозвание смоленский цыган Вано получил двенадцать лет назад, когда бывшая российская империя догорала в умирающем пламени гражданской войны, а на её южных окраинах гремели последние бои. Остатки белогвардейских полков уже не надеялись победить – и пытались лишь выиграть время. Солдаты, понимающие, что белая армия обречена, дезертировали целыми ротами. Новые части наспех формировались из кого попало: авантюристов всех мастей, выпущенных из тюрем уголовников, беспризорщины, стариков, подростков и различного сомнительного элемента, взятого во время облав на рынках и вокзалах. В один из дней в такую облаву попал младший сын Вано. Двадцатилетнего цыганского парня под угрозой расстрела привели к присяге и загнали в эшелон, который через полчаса тронулся в Крым.

В день, когда забрали сына, Вано в таборе не было: он ходил на дальний хутор лечить знакомому мужику заболевшую лошадь. Вернувшись, он увидел у шатра чёрную от горя жену и притихших, заплаканных дочек.

Дочерей у Вано было шесть, сын – всего один. И поэтому, узнав о случившемся, цыган молча ушёл в шатёр – и появился оттуда через несколько минут: в старой шинели внакидку и с мешком в руках.

– Маня, положи мне сала и хлеба. Поеду Стёпку искать. При мне авось не убьют его.

Жена, схватившись за голову, рухнула на колени у костра и заплакала. Взвыли и дочери. Вано с минуту смотрел на заливавшихся слезами женщин. Затем, сдвинув брови и угрожающе потрогав торчащий за поясом кнут, сурово спросил:

– Самому мне, что ли, собираться?

Через полчаса Вано с мешком за плечами спорым шагом шёл по пыльной дороге к городу.

Он искал сына, перебираясь из города в город, с вокзала на вокзал, то трясясь в вагоне, то сидя в крестьянской телеге, то шагая по дороге вслед за конными частями. Не особенно понимая, из-за чего на этот раз воюют русские, Вано расспрашивал всех подряд о цыганском парне по имени Стёпка. Но ни гаджэ, ни цыгане нечем не могли помочь ему – и в конце концов Вано оказался в Первой Конной.

Война Вано не остановила: он успел повоевать «в германскую», свист пуль и грохот снарядов не пугали его. Он смертельно боялся лишь одного: что погибнет, не успев вытащить из этого ада крошечного своего Стёпку. Опытным солдатом, пусть даже и цыганских кровей, Красная армия разбрасываться не могла: Вано очутился в составе расчёта батарейного орудия. Со своим отрядом он прошёл всю Бессарабию, добрался до Крыма, вслед за кавалерией вошёл

---

<sup>13</sup> Смотри



в Ялту – но остатки врангелевской армии уже покинули родную землю, отправившись через море в Турцию.

За минувший год Вано почти смирился с тем, что больше никогда не увидит сына: глупо было рассчитывать на это, видя, как сотнями гибнут люди, как изувеченные трупы сваливаются в общие рвы-могилы, как целые госпитали вымирают от тифа и гангрены... «Должно быть, сгинул Стёпка,» – думал он, методично обходя госпитали и больницы, расспрашивая на пристанях, вокзалах и базарах – не видел ли кто? Не встречал ли? Но сына не было нигде.

Из Ялты Вано поехал в Симферополь, из Симферополя – в Керчь, из Керчи – в Евпаторию... Иногда ему встречались кочевые цыгане. От них Вано с облегчением узнавал, что его жена и дочери живы и здоровы, но про сына по-прежнему никто ничего не слышал.

Осень двадцать первого года застала Вано в Джанкое. Город был забит беженцами всех мастей. Каждый день от порта отходили переполненные суда. Суматоха стояла страшная, на улицах мелькали испуганные лица, все куда-то мчались, что-то тащили, наспех продавали, бестолково покупали, теряли и бросали, плакали, бодрились, кричали... Река людей с детьми, узлами и чемоданами текла к порту. Вано пробивался сквозь неё, привычно устремляясь на базар.

Рынок был пуст. Между деревянными прилавками шуршали скомканные газеты, листовки Добровольческой армии и сухие листья каштанов. Одинокая тётка, нахохлившись и кутаясь в неожиданно изящную мантилью из чёрных кружев, сидела на ступеньках и печально смотрела на пляску листьев. Рядом с ней стояло полное ведро слив – больших, матово-сизых, уже начавших исходить густым соком. Увидев Вано, она без особой надежды спросила:

– Папироски не найдётся ли, дядя цыган?

Папирос у Вано не было, но была махорка. Торговка обрадовалась, тут же подхватила с земли газетный лист, и через минуту они с Вано дружно дымили самокрутками. Выбрав из своего ведра горсть слив покрепче, тётка протянула их цыгану:

– Бери, ешь... Всё едино ничего не продам: вон как сегодня завернулось-то всё. Бери, ещё дам! Хоть всё ведро забери для своих цыганят!

– Спасибо, милая. Цыганята мои далеко. – Вано впился зубами в сливу, понимая, что вряд ли удастся сегодня перекусить ещё чем-то.

– Далеко? – удивилась тётка. – Вон как, а я тут кажин день цыганку вижу! Думала – табор пришёл! Молоденькая такая, приходит на базар, меж рядов бродит, то просит, то гадает кому-то... Я-то ей ещё говорила: что ты, дурочка, здесь болтаешься, иди в порт! Там сейчас господа чистые, как цыпки без головы, носятся, что им ни скажешь – всему поверят, озолотят тебя... А она только носом шмыгает: не могу, мол, от мужа далеко отойти...

– Да ну? – заинтересовался Вано. – Когда это цыган жену гадать не отпускал?

– Да он у ней то ли ранетый, то ли хворый, – охотно пояснила торговка. – В госпитале на Каштановой валяется, а она при нём.

Тут уже Вано заинтересовался всерьёз. Лежащий в госпитале цыган наверняка был военным, а значит, его можно было расспросить о сыне. Надежда была крошечной, но за год Вано привык беречь и крохи.

– Где эта Каштановая, милая?

Госпиталь оказался длинным, жёлтым, унылым зданием с разбитыми окнами. Едва войдя, Вано понял, что опоздал: в коридорах не было ни души. Сквозняк гонял по выщербленному, затоптанному полу обрывки бинтов и опалённые клочки бумаги. Было сыро, холодно. Под потолком чирикали воробьи, налетевшие с улицы. Стоя на пороге, Вано громко позвал:

– Эй! Есть кто живой?

Никто не отозвался. Вано позвал снова – всё та же тишина. Вздохнув, он уже повернулся, чтобы уйти... и попробовал ещё раз, наудачу:

– Эй, ромалэ!

И сразу же (Вано даже испугался) появилась цыганка. Появилась как привидение, бесшумно, словно соткавшись из сырой темноты на лестнице. Она была очень испугана, очень худа и совсем молода: Вано не дал бы ей больше шестнадцати. Небрежно заплетённые волосы свисали из-под кое-как повязанного платка. С коричневого от загара, худого, осунувшегося лица настороженно блестели глаза. Не сводя взгляда с Вано, она хрипло спросила его о чём-то – и он, понимая, что она говорит по-цыгански, всё равно не разобрал ни слова.

– Из каких ты, дочка? – перешёл он на русский. – Как тебя зовут?

– Плащунка. Янка.

– Что здесь делаешь одна, где ваши все?

– Я с мужем. Он... Он... – цыганка захлебнулась рыданием. Вано сразу всё понял.

– Когда отмучился?

– Но-о-очью...

Вано молча пошёл за ней по тёмному коридору, сапогом отталкивая с дороги мусор. И не понимал, что за жаркая волна, не давая дышать, поднимается к горлу, бьёт в виски... И, ещё не видя, не перешагнув порога огромной пустой палаты с серыми стенами, он уже знал: сейчас увидит сына... И увидел: жёлтого, иссохшего и мёртвого, с искажённым смертной мукой, уже застывшим лицом. Из волос Стёпки – спутанных, слипшихся, тусклых, как старое мочало, – не спеша выползла на восковой лоб большая вошь. Вано, не отрывая взгляда, смотрел на неё и силился понять, как же вышло, что вот эта сосущая тварь – жива и прогуливается по неживому, а сын, Стёпка, его мальчик... В глазах потемнело, и несколько мгновений Вано не мог понять, на каком свете находится и стоит ли на ногах... Что-то с болью разорвалось в горле, задрожало под сердцем – и он, упав на колени у койки, сухо, сдавленно и бесслётно затрясся. И так же беззвучно завывала, повалившись растрёпанной головой в его сапоги, молодая цыганка...

Вано протянул руку. Погладил вдову сына, как ребёнка, по растрёпанным волосам, по перекрученному, влажному от пота и дождя платку, сползшему на шею, – и она, схватив его руку и прижав её к груди, горько заплакала.

– Не плачь, дочка. Ничего. Не плачь. Проживём.

Целый месяц Вано с молодой невесткой добирались до табора. Вано ни о чём не расспрашивал Янку, которая плакала без конца: уходя утром бродить по деревням, возвращаясь на закате, глухо всхлипывая ночью... Видя, как она убивается, Вано понимал: все расспросы – после, потом, когда-нибудь... С каждым днём Янка делалась всё худее и суше, запали глаза, обведённые сизыми кругами, острые ключицы чуть не разрывали ветхую ткань кофты, скулы торчали ножами. Она ни на что не жаловалась, но Вано беспокоился не на шутку, уверенный, что новообретённая невестка серьёзно больна. Добывала Янка мало и плохо, часто возвращалась из деревни с пустыми руками, глухо говорила:

«Прости, дадо, не повезло...» – и ложилась ничком прямо на траву.

«Хворая, видать... Долго не протянет,» – грустно думал Вано, отправляясь в ту же деревню в надежде что-то починить или поправить какой-нибудь вдове завалившийся забор.

До своих Вано и Янка добрались уже по предзимкам. Услышав о том, как умер брат, дочери Вано заголосили на весь табор. Жена не заплакала, хотя у Вано при взгляде на неё сжалось сердце: за прошедший год сорокапятилетняя Маня стала седой старухой с погасшими глазами. Янка, стоя за спиной свёкра, разглядывала новую родню испуганно и выжидающе. Младшая дочь Вано, пятнадцатилетняя Нютка, важно взяла невестку за руку и повела в шатёр.

Вечером жена отозвала Вано в сторону от костра.

«Янка тяжёлая.»

«Что?.. – оторопело переспросил Вано. – Ты с чего это взяла?»

«Она сама сказала. Да ведь и видно... – Маня отвернулась к красной, холодной полосе солнца, гаснущей над полем. До Вано донёсся чуть слышный, сдавленный всхлип. – Чудо,

что удержала в себе... Бедная девочка. Весной, даст Бог, внук у нас родится. Ты знаешь, что Янка – кисыкарька<sup>14</sup>? Наш Стёпка, когда из солдат убежал, в плащунский табор пришёл, там её и встретил. Янка одна всю семью кормила. А с нашим Стёпкой ушла, потому что боялась по карманам лазить. У неё сестру за это убили. Всем базаром убивали, а Янка из-за угла смотрела, ни помочь, ни закричать не могла. И после этого бояться начала. А когда боишься – значит, скоро попадёшься... Они со Стёпкой вдвоём убежали, Стёпка в Джанкое тифом заболел, Янка его на себе в больницу притащила, надеялась, бедная... Теперь плачет, говорит, что назад к своим нипочём не пойдёт. А добывать, как мы, гадать, просить, – не умеет.»

«Ничего. – От облегчения и счастья у Ваню задрожали руки, он не знал, куда спрятать их, и не мог смотреть в полные слёз глаза жены. – Научишь её всему. Пусть только родит.»

Так и вышло. В апреле, в ясный, тёплый день, когда над деревней, где зимовал табор, бесечно и радостно заливались прилетевшие скворцы, Янка родила сына. Шесть невесток и помолодевшая от счастья на двадцать лет свекровь сустились вокруг неё, весь табор радовался – и готовился к отъезду. Солнце грело уже не шутя, и через неделю цыгане тронулись на юг, вслед за теплом и поднимающейся молодой травой. Янка ехала в телеге Ваню и Мани, кормила грудью крохотного Юрку и улыбалась, подставив худое лицо горячим лучам.

День шёл за днём. Поля сменились степью, лёгкое весеннее тепло – нестерпимой летней жарой. Табор жил привычной кочевой жизнью: мужчины нанимались, где было можно, на сезонные работы (торговля лошадьми почти не давала дохода), женщины привычно бегали по хуторам и станицам, просили, гадали. Ходила с ними и Янка, которую таборные цыганки прозвали Изюмкой: за чёрный, матовый блеск глаз. Свекровь сурово приказала ей:

«О том, чем ты раньше промышляла, – и думать забудь! Мы твою семью уважаем, плащуну – цыгане достойные, но мы с другого живём! И раз ты теперь наша – учись добывать по-нашему.»

«Я не умею,» – грустно говорила Изюмка.

«Ничего, научим! Ещё козырная добисарка будешь!»

Свекровь как в воду глядела: Изюмка всему училась на лету. Пугать людей, обещать им хвори и несчастья она терпеть не могла: Изюмкино гадание было солнечным и радостным, вызывающим даже у лихих таборных тёток добродушные улыбки. Вскоре к шатру Ваню и Мани начали приходить родители молодых парней и сами парни. Ваню всем отказывал наотрез.

«Да кого твоя Изюмка ждёт? – возмущались обиженные сваты. – Царя небесного?»

«Нам царей не надобно! – важно парировал Ваню. – Я Изюмку поперёк её воли не отдам, она мне – дочка. Не хочет замуж – пусть с нами живёт, бабка моя только рада будет. А я и подавно.»

Ваню говорил чистую правду: он даже представить себе не мог, что Изюмка уйдёт от них, унесёт внука, так похожего на погибшего Стёпку, не будет суеститься вокруг шатра, не будет улыбаться, чистя картошку, кормя сына, подновляя разноцветными лоскутами шатёр... Он понимал, что рано или поздно Изюмка захочет иметь свою семью и не в его праве будет останавливать невестку... но подольше бы она не шла замуж!

Шли годы. Закончились война, голод, разруха. Измученная страна начала понемногу приходить в себя. Цыгане жили привычной жизнью, зимой отсиживаясь в деревенских хатах на Смоленщине, летом – откочёвывая в кубанские и ростовские степи. От страшного «военного» года у Ваню осталась лишь старая-престарая будёновка с голубой звездой, прозвище «Командир» да потёртая, с расплывшимися чернильными записями красноармейская книжка. Изюмка давным-давно стала своей в таборе русских цыган: никто уже и не вспоминал о том, что она – плащунка. Рос Юрка, превращаясь из малыша в непоседливого мальчишку, вытягиваясь, раздаваясь в плечах, взрослея, – а Изюмка всё так же жила в палатке свёкров. Она,

<sup>14</sup> карманница

казалось, не старела: всё такой же безмятежной была её улыбка, всё так же не слышалось визгливых, резких ноток в её голосе, всё такими же яркими, нарядными были её юбки и кофты, которые она шила сама (она очень любила котлярский «фасончик») – но в смоляно-чёрных косах уже потянулись первые серебряные нити. Сваты, впрочем, продолжали приходить: уже не молодые парни, а солидные, богатые, крепко стоящие на ногах вдовцы. Изюмка отказывала им сама – вежливо, уважительно и непреклонно.

Голодным летом 1933 года табор Вано оказался под Москвой: бескормица гнала цыган к большим городам, где можно было найти заработок и еду. Мужчины устроились на рытьё котлована в Миуссах. Цыганки привычно бродили по улицам и площадям с картами в руках.

Однажды вечером, после целого дня промысла на Тверской, возле Белорусско-Балтийского вокзала и в переулках, гадалки возвращались в табор. Идти по большим улицам, где к вечеру, казалось, милиции стало только больше, таборные женщины не рискнули и свернули в тихий переулок за старой, наполовину разобранной церковью, где низенькие деревянные домики, казалось, дремали среди яблонь и вишен. Возле одного дома цвели разросшиеся кусты жасмина, душистой пеной выплёскиваясь через низенький штaketник. Девушки, смеясь, принялись срывать пахучие грозди и пристраивать их в волосы. Из кустов, возмущённо посвистывая, вылетела пара соловьёв.

– Девки, перестаньте! – строго велела Изюмка. – Нечего куст обдирать, сейчас ещё хозяйка выскочит да раскричится! Ой... Ой, а там, кажется, плачет кто-то!

– Брось! Чудится тебе! – рассмеялись подруги. – Радиво играет со столба!

Но никакого «радива» на столбе не было, – а из открытого окна дома доносились чуть слышные, горестные всхлипы. Изюмка решительно сбросила со столбика калитки жестяное кольцо, шагнула в заросший травой и лопухами дворик, осмотрелась, – но кругом было пусто и тихо. На верёвке висели изящно вышитые наволочки, несколько белых кружевных салфеток. Изюмка, взглянув на них, восхищённо покачала головой – и пошла к крыльцу.

– Изюмка! Глупая, брось! Поздно уже! Идём в табор! – кричали ей через забор подруги. – Ну что ты тут возмёшь? Ещё крик поднимут, что цыганка прямо в дом лезет!

Но Изюмка, отмахнувшись от подруг, потянула на себя незапертую дверь и юркнула внутрь.

Пройдя по длинному тёмному коридору, Изюмка оказалась в большой и очень грязной кухне с чугунной плитой, бастионами закопчённых кастрюль и холодными примусами. Убедившись, что в кухне никого нет, Изюмка вернулась в коридор и, стараясь как можно тише ступать босыми ногами по половицам, пошла мимо закрытых дверей, изо всех сил напрягая слух. Пахло мышами, сыростью и нафталином, от тишины звенело в ушах. Изюмка уже была готова поверить в то, что плач ей почудился, когда из-за двери в конце коридора снова раздались чуть слышные сдавленные всхлипы. Не задумываясь, Изюмка толкнула дверь.

Худенькая женщина, сгорбившись, сидела за круглым, покрытым плюшевой скатертью столом. Её тёмные, связанные в аккуратный пучок на затылке волосы отливали сединой, несколько выбившихся кудрявых прядок падали на аккуратный кружевной воротничок синего платья. Женщина плакала, одной ладонью закрывая глаза, а другой – судорожно комкая скатерть, с которой, тихо шелестя, сыпались на пол тонкие тетради с одинаковыми серыми обложками. Осторожно переминаясь с ноги на ногу и не решаясь окликнуть хозяйку, Изюмка осмотрелась.

Комната была небольшой, с высоким застеклённым книжным шкафом, с портретом неизвестного Изюмке бородатого дядьки на стене, с маленьким комодом, на котором не стояло ни безделушек, ни карточек, зато аккуратными стопками высились толстые книги и тетради. Простые полотняные шторы были отёрнуты. На подоконнике в стеклянной банке стояли ветви жасмина. На большой кровати горкой поднимались подушки в вышитых наволочках, на стене висел потёртый коврик не то со стаей птиц, не то с эскадрилей самолётов. По сравнению

с загаженной кухней комнатка выглядела удивительно чистой и уютной, и в ней так же, как в саду, сладко пахло жасмином. Изюмка снова переступила с ноги на ногу и шёпотом, боясь напугать, позвала:

– Милая... Эй, красавица!

Женщина испуганно обернулась. Последние тетради, упав со стола, разлетелись веером по полу.

– Кто здесь? Что вам нужно? Вы... из милиции?

– Кто – я?! – поразилась Изюмка. – Что ты, родненькая, какая милиция, зачем нам она? Я – цыганка, я просто мимо шла, около твоего окошка покурить остановилась – слышу, плачут, горе, значит, у людей... И нет никого! Что случилось, золотенькая? Хочешь – помогу?

– Нет, спасибо, уходите, – глухо, почти бесстрастно отозвалась женщина, отворачиваясь к окну. – Мне нечего вам дать.

– Что ты, мне ничего и не надо! Ничего, клянусь тебе! Я деткам на ужин нагадала уже, ничего от тебя не возьму! Ты просто Расскажи, Расскажи – что случилось?

– Но... зачем же? Что вы мне скажете? Я не верю гаданию...

– Как – «что»? Ты что, серебряная, не знаешь, как цыганки гадают? Не знаешь, что нам от бога дано людям в сердце смотреть и видеть всё до доньшка? Думаешь, просто так мы дома не имеем, босыми по полям-лесам всю жизнь скачем, от людской доброты живём? Такой жизнью мы за глазастую судьбу свою платим, за то, что наши бабы наскрозь любого видят! Вот и я сейчас на тебя смотрю – и вижу, что счастье твоё переломилось... Что – мужа забрали? Сегодня пришли за ним, да? Прямо со службы увели?

Изюмка знала, что говорила: в последнее время на улицах Москвы гадалкам всё чаще попадались женщины с потухшими глазами, которые шепотом, оглядываясь по сторонам, спрашивали: «Скажи, за что мужа взяли? Его отпустят? Мне свидание дадут? Мне разрешат вместе с ним поехать?» И сейчас Изюмкин взгляд зацепился за распахнутый шкаф, из которого неряшливо свисали вещи, и за раскрытую деревянную шкатулку с документами. Вполне могло оказаться, что вещи были просто брошены на полку впопыхах, а шкатулку открыли в поисках пропавшей метрики. Но женщина беззвучно ахнула, схватившись за грудь, и встала из-за стола, неловко хватаясь за край.

... – и вот наша Изюмка уселась там с ней и сидит! – наперебой рассказывали вернувшиеся в табор цыганки встревоженному деду Командиру. – Карты свои по столу разложила, глаза вытаращила – и врёт вовсю! Гаджи плачет-заливается, а Изюмка то обнимает её, то воды принесёт, то давай в своё зеркальце пялиться и бормотать по-плащунски, то карточку мужа затребовала и руками над ней водит... ну, как всегда всё! Хлебом не корми, а дай концерт развести! На нас в окно махнула, «Идите в табор!» – кричит. Мы и пошли!

– Дуры! – в сердцах выругался Ваню. – Что же вы её одну на ночь глядя бросили? А если гаджи вдруг милицию позовёт?

– Ну, вот ещё! Кто там позовёт? Гаджи культурная, вся хата в книжках! Ничего, прибежит наша Изюмка скоро!

Цыганки рассыпались по своим палаткам: каждую ждали голодные дети. Некоторое время Ваню стоял, яростно скребя в затылке и глядя в меркнувшее над полем серебристо-розовое небо. Затем сплюнул, натянул кепку и решительно зашагал к дороге в город, через плечо бросив внуку Юрке:

– За конями пригляди!

Домик за сломанной церковью с жасмином во дворе Ваню нашёл быстро. Заходить не стал, заглянул с улицы в окно и, к своей радости, увидел, что в бабы дела ему вмешиваться не придётся: Изюмка и хозяйка уже прощались. Не желая мешать, старый цыган присел на рассохшуюся лавочку у забора, достал пачку «Братишки», закурил и, отмахиваясь от комаров, прислушался.

– Так ты думаешь... думаешь, Воля?..

– Придёт, родная! Как есть тебе говорю: придёт! Ошибка вышла, начальники ошиблись, по пустой глупости твоего мужа взяли! Трёх дней не пройдёт – он вернётся! А ты себе пустого страдания в мозги не пихай! Сейчас ложись спать, а утром вставай, и – на работу! Да смотри, слёз никому не кажи, ходи канделяброй!

– Кем? Послушай, но ты же неправильно употребляешь это слово! – До Вано донёсся тихий смех. – Может быть, ты хотела сказать «королевой»?

– Королева – тоже хорошо, но канделябра – лучше! – не давала сбить себя с толку Изюмка. – Да главное, изумрудная, не в слове, а в видимости! Видимость у тебя должна быть, как у королевской канделябры: и спереди, и сзади, и на морде тоже! Тогда и Бог обрадуется, на тебя глядя, и удачи тебе пошлёт! А мужа жди, жди! Вернётся скоро! Да не забудь: долгая дорога, чужие люди, чужой город! Если так сделаешь – всё у вас хорошо будет!

– Ксения Андревна! – Визгливый и пронзительный голос вклинился в ласковую Изюм-кину скороговорку так неожиданно, что Вано уронил на лавочку папиросы. Обеспокоенно привстав, он увидел, что в освещённую комнату, со всей силы стукнув дверью о стену, ворва-лась худая, растрёпанная тётка в зелёной, измятой, кое-как застёгнутой кофте. В свете лампы под бумажным абажуром Вано явственно видел тёткины рыжие, крашенные стрептоцидом волосы, выбившиеся из-под сбитой на затылок косынки.

– Ксения Андревна, вы что же это творите-то? Вы на что цыганку в дом запустили? Это же додуматься надо, а ещё приличная женщина, в школе работает! Да эта голодранка уже, небось, все шкафы перерыла! Поди, и получку вашу нашла! Вы её в мою-то комнату не пускали? А ну держите её крепче, я за милицией сбегаю!

– Тоня, перестаньте кричать, не нужно никакой милиции, – спокойно отозвалась хозяйка. Вскочившую было с негодованием Изюмку она мягким жестом усадила на место. – Эта цыганка – моя давняя и добрая знакомая. Она зашла ко мне в гости и даже не заглядывала в вашу комнату. Ведь так, Изюмка?

– Очень нужно, брильянтовая! – фыркнула Изюмка. – Мне, дорогая, ничего твоего не нужно, мы люди честные, чужого не берём!

– Нет, вы погляньте, честная она! – расхохоталась Тоня. – Ксения Андревна, велите ей торбу вывернуть, я своими глазами погляжу, как...

– Тоня, немедленно замолчите и уходите! – тихо, гневно велела учительница. – У вас, кажется, примус залило на кухне, вы слышите?

Тут уж Командир решил, что пора вмешаться.

– Изюмка! Джяса кхэрэ! Шунэс – гаджи кушэлпе<sup>15</sup>!

– Ой, пора мне! Ксения Андревна, золотенькая, пора мне! Отец за мной пришёл! А ну, отойди от двери, холера крашенная! Растопырилась, как сеялка колхозная, – ни пехота не прой-дёт, ни бронепоезд не промчится! Думает, очень мне её тряпки нужны, с собачьей свадьбы украденные! – последние слова Изюмка выкрикнула, уже выбегая из дома.

Увидев поднимающегося ей навстречу свёкра, она с облегчением вздохнула, слабо улыб-нулась:

– Ты зачем здесь, дадо?

– Затем, что другие-то бабы давно по палаткам сидят! – Вано зашагал рядом с невесткой, изо всех сил напуская на себя сердитый вид. – Ну – много взяла?

– Да что тут взять? – отмахнулась Изюмка, поправляя сползший на шею платок и звонко шлёпая присевшего на лоб комара. – Тьфу, упыри, летают еропланам, как в лесу! Нечего взять, дадо. Учителка, денег в доме ни гроша, и мужа вчера забрали! Плачет, бедная, боится, что и её тоже заберут, с работы выгонят, и сыну худо будет: он у неё в военном учится... Я ей

<sup>15</sup> Идём домой! Слышишь – русская ругается!

всего наобещала, жалко же... И что такое делается, зачем гаджэ друг дружку заарестовывают? Не живётся им спокойно, всё врагов у себя под кроватями ищут!

– Так ты весь вечер в дому просидела и ни копейки не взяла?! Ну что за... – тут Вану умолк на полуслове, потому что внезапно вспомнил о том, что оставил на лавочке у дома «учительки» едва начатую пачку папирос. Сплюнул, выругался и повернул обратно, бросив невестке:

– Марш в табор, кура безголовая!

Пачку «Братишки» никто не тронул: она лежала на краю лавочки. Вокруг уже совсем смерклось, и жёлтый, освещённый лампой квадрат окна чётко вырисовывался за тёмными жасминовыми зарослями. Присмотревшись, Вану увидел раскрытую дверь шкафа, свесившиеся из него кружевные наволочки. Стоящая к нему спиной женщина молча, быстро и сосредоточенно рылась на полке под стопками белья. От дверцы шкафа падала густая тень, и Вану видел лишь мелькающий в свете лампы острый костлявый локоть из-под закатанного зелёного рукава. Вану зевнул, отвернулся, взял с лавочки свои папиросы и неторопливо зашагал обратно.

Наутро Изюмка вместе с другими цыганками привычно отправилась в город. И уже через час женщины примчались с Миусской площади с вытаращенными глазами:

– Дядя Вану, нашу Изюмку милиция забрала! Нет, не за то, что документов нет! Ещё хуже! Гаджи прямо на неё показала, сказала – эта цыганка у меня вчера сидела и золото из шкафа унесла!

Оказалось, что милиционер подошёл, когда Изюмка, сидя на лавочке возле автомата с газированной водой, вдохновенно сочиняла двум смеющимся студенткам про любовь и трудную дорогу. Вместе с ним была «вчерашняя учителька».

– Вот эта, вы говорите?

– Да, товарищ милиционер, это она... Зачем же ты так поступила? Ведь это же было последнее, понимаешь, – последнее! – тихо, без гнева спросила Ксения Андреевна у ошеломлённой цыганки. – Ведь мне, может быть, придётся... далеко ехать! Ты же об этом знала!

– Миленькая моя, да что ты такое говоришь? – залепетала Изюмка. – Ты же мне сама всего дала! Яичек дала, хлеба, картошки! И твоя соседка видела, что я не украла! Родненькая, ну вспомни же, я же...

– Пройдёмте, гражданки, в отделение.

Разумеется, в отделение милиции вслед за отчаянно протестующей Изюмкой примчались все таборные цыганки. Разумеется, было много крика, воплей и страстных убеждений в том, что Изюмка – не воровка. Но, к ужасу цыганок, положение оказалось отчаянным. Из дома учительницы пропали три червонца денег и украшения. Пропажу хозяйка обнаружила наутро, на её плач прибежала соседка и объявила, что, конечно же, всё взяла цыганка. Соседка же и убедила рыдающую Ксению Андреевну поскорей одеться и бежать на площадь, где «эти галки с утра до ночи советских людей дурят». Учительница побежала на Миусскую, где фланировала по площади, приставая к прохожим, целая команда гадалок, – и сразу же узнала среди них Изюмку.

– Миленькая, родненькая, ненаглядная, но это же не я! Клянусь тебе, – не я! Хочешь – на сына забожусь, что не я? – плакала Изюмка, сидя на расшатанном стуле в отделении милиции. Милиционер, морща лоб, старательно писал протокол со слов пострадавшей.

– Да, она сама вошла в дом... Да, мы разговаривали, она мне... гадала. Я сама ей дала еду и двадцать копеек денег. Нет, в шкафы она не заглядывала, но... Конечно, я выходила в кухню, чтобы собрать для неё продукты... Зачем собирала? Но она была такая оборванная, босая...

– Ну что же вы, ей-богу, гражданка Софронова, как маленькая, – сурово говорил милиционер. – Разве можно этот народ в дом впускать? Вот теперь и разбирайся с вами... А ты говори, куда украденное дела! Возвращать будешь?

– Миленький! Драгоценный, алмазный, да я же не брала ничего! Я же в комнате сидела, никуда не уходила! Красавица моя, да ты всего на минуточку в кухню ушла! Ну что бы я успела за ту минуточку, сама подумай? – плача и ловя руку учительницы, умоляла Изюмка.

– Перестань, – устало сказала Ксения Андреевна. – Как тебе не стыдно? Ты же всё знала, ты сама мне говорила... И всё равно взяла последнее! Как же ты можешь клясться сыном? Неужели ты совсем ничего не боишься?

– Да что вы её воспитываете, гражданка? – бурчал милиционер. – Эту породу не перекуёшь... Будешь говорить, где краденое, или нет? Дура, скажи, тебе по суду скидку дадут!

Изюмка, повалившись растрёпанной головой на стол, отчаянно завывала. Учительница смотрела на неё со странной смесью отвращения и сострадания.

И в это время с грохотом распахнулась входная дверь – и на пороге кабинета вырос дед Командир в вылинявшей будёновке, из-под которой воинственно торчали сивые кудри. В руке его была красноармейская книжка, которую Ваню держал перед собой как щит, грозно глядя на растерявшегося милиционера.

– Здравствуйте, гражданин, вы по какому вопросу?

– Здравствуй, товарищ милиционер. Вот по этому я вопросу, – сурово кивнул старик на Изюмку. Та подняла на него мокрые, отчаянные глаза.

– Додо, совлахава, мэ ничи на чёрдём!<sup>16</sup>

– Закэр муй, дылыны, мэ джином!<sup>17</sup> Товарищ милиционер, моя дочка ничего взять не могла. Она тому не обучена. Мы – цыгане честные. Я всю гражданскую с красной армией прошёл, на Перекопе был, вот мои бумаги, сам гляди!

Милиционер неуверенно усмехнулся, но красноармейскую книжку всё же взял. Перелистал, поднял заинтересованный взгляд на сурового плечистого старика. Командир, не замечая этого, смотрел на изумлённую учительницу.

– Уважаемая, ты мне одно только скажи. Только одно! Видела ты, как моя Изюмка у тебя по шкафам лазила? Видела? Своими глазами?

– Нет, но...

– А вот я видел, – внушительно перебил Ваню. – Я вчера у тебя под окном папиросы забыл, вернулся с полпути – и увидел. Рыжая ведьма у тебя в шкафу копалась, соседка твоя!

Ксения Андреевна всплеснула руками. Изюмка вытаращила мокрые глаза. Милиционер нахмурился:

– Вы, товарищ, понимаете, что говорите? Заявление можете написать?

– Ещё бы я на старости лет не понимал, что говорю! – отрубил Ваню. – А бумагу ты с моих слов напишешь, а товарищ учительница подтвердит, что всё там верно, – и, не давая милиционеру опомниться, властно распорядился, – Времени не трать, бумагу после накорябаешь. Поезжай к соседке на квартиру: авось не успела ещё золотишко сбыть.

И всё оказалось так, как сказал Ваню. Украшения учительницы – простенькие золотые серёжки, кольцо с гранатом, серебряный браслет-цепочка и жемчужная брошь – были найдены милиционерами в буфете соседки Антонины: та даже не спрятала их. В отделении Тонька выла, била себя костлявыми кулаками в грудь, уверяла, что «бес попутал», что в жизни не думала, что «интеллигентка» заявит в милицию и что кто-то в отделении поверит словам уличных цыган.

В милиции пришлось просидеть часа два: писали бумаги, оформляли заявление Ваню, затем пол-отделения набилось в кабинет, чтобы послушать рассказ о том, как цыган воевал с Щорсом и Будённым... Когда Ксения Андреевна, Ваню и Изюмка, наконец, вышли из отделения, над городом сползались тяжкие тучи, и за Миуссами глухо, угрожающе рокотало. Порыв ветра сорвал будёновку с головы Ваню: старик едва успел её подхватить.

---

<sup>16</sup> Отец, клянусь, я ничего не украла!

<sup>17</sup> Замолчи, дура, я знаю!



– Надо в табор бежать! – озабоченно сказал он дочери. – Может, до грозы ещё успеем!

– Прошу вас, Иван Николаевич, пойдёте ко мне! – взволнованно предложила Ксения Андреевна. – Я приготовлю ужин, у меня даже вино есть! Посидите, поедите, переждёте дождь... ведь ещё не совсем поздно! Я так виновата перед вами...

– Ни в чём ты не виновата, – хмуро отозвался Командир. – Всякая бы на цыганку подумала. Цыгане-то, как русские: тоже разные бывают. И в шкаф, и в карман залезут, и последнее возьмут. Но Изюмка моя – никогда!

– Прошу вас, пойдёте ко мне! Хотя ненадолго! Я хотя бы дам вам что-то с собой!

Вано, колеблясь, посмотрел на невестку. Та, подняв на него ещё красные от высохших слёз, счастливые глаза, несколько раз жарко кивнула – и старик сдался.

– Идём! Вот только наших упредим, – он кивнул на таборных цыганок, которые ждали, сидя на ступеньках, и при виде Изюмки с радостным галдением кинулись к ней. Наказав женихам предупредить Маню, Командир и Изюмка отправились в гости.

«Ненадолго» не получилось. Едва учительница со своими гостями вошли в палисадник, как стеной хлынул ливень, и началась такая гроза, какой Вано не видел ни разу за все свои шестьдесят лет даже на Кавказе. Из окна за стеной ливня было не разглядеть забора. По дорожке между кустами жасмина бежала мутная, вспененная дождём река. Электричество сразу же замигало и погасло.

– Ничего, кончится же когда-нибудь! – весело говорила Ксения Андреевна, зажигая свечи и доставая из буфета тарелки. – Перестанет – и пойдёте в свой табор! У меня есть селедка и картошка, сейчас поставим чайник... Какое счастье, что всё разрешилось! Мы с Тоней никогда не могли найти общего языка, но мне даже в голову не могло прийти, что она сможет вот так... И из-за чего? Какие-то у меня украшения, чтобы из-за них отправить человека в тюрьму? Браслет ведь даже не золотой, а позолоченный! Ну, продала бы она их... Ну, купила бы себе кровать с шарами, как мечтала... Но как потом спать на этой кровати и знать, что из-за каких-то латунных шаров невинный человек сидит в тюрьме? Не могу себе представить...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.